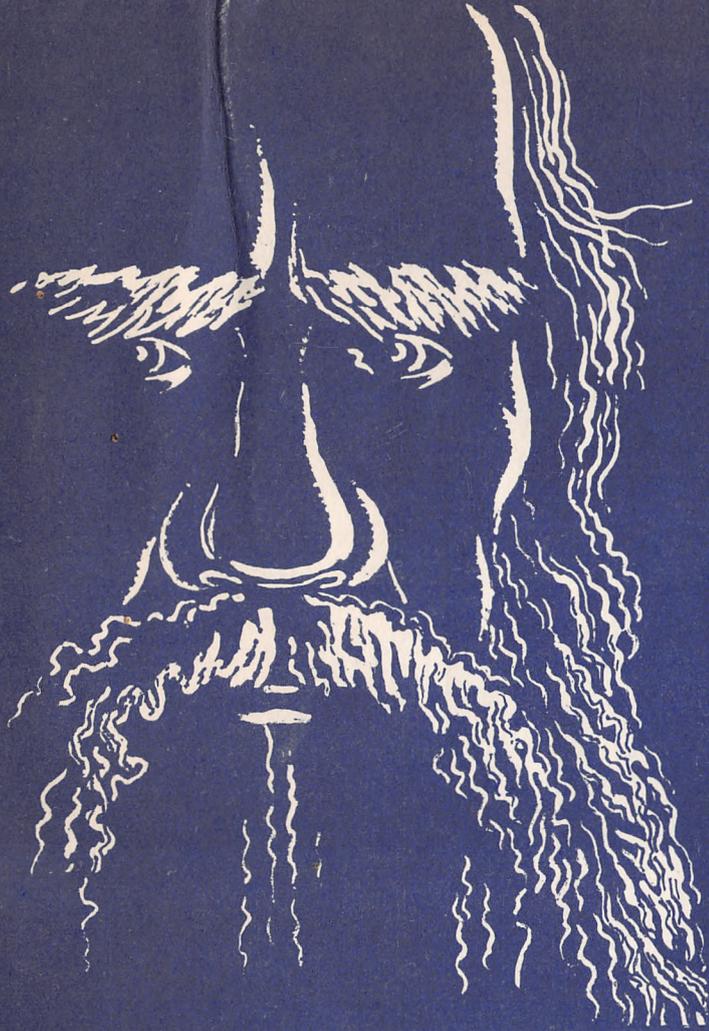


ПОСЛЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО

Я. С. ЛУРЬЕ



Я. С. ЛУРЬЕ

ПОСЛЕ  
ЛЬВА  
ТОЛСТОГО

**Я. С. ЛУРЬЕ**

# **ПОСЛЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО**

**ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ ТОЛСТОГО  
И ПРОБЛЕМЫ XX ВЕКА**



**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
1993**

Вопросы философии истории, поднятые Толстым, не утратили актуальности в наш век. Главный урок, который можно извлечь из печального опыта XX в., заключается в том, что попытки «делания истории», основанные на любой социальной или национальной догме, губительны. В жертву таким попыткам не должны приноситься нравственные принципы человечества.

**Яков Солмонович Лурье**  
**ПОСЛЕ ЛЬВА ТОЛСТОГО**  
**Исторические воззрения Толстого**  
**и проблемы XX века**

Редактор издательства *И. И. Шефановская*  
Художник *Р. П. Костылев*  
Технический редактор *Т. В. Буланина*  
Корректор *Д. М. Буланин*

Сдано в набор 20.04.93. Подписано к печати 15.07.93. Формат 60×90<sup>1/16</sup>.  
Гарнитура обыкновенная. Печать высокая. Усл. печ. л. 12.  
Печ. л. 12. Тираж 1000. Зак. 149.

Издательство «Дмитрий Буланин»

Санкт-Петербургская типография № 1 ВО «Наука».  
199034, С.-Петербург, В-34, 9 линия, 12.

ISBN 5-86007-006-3

© Я. С. Лурье, 1993  
© Издательство «Дмитрий Буланин»,  
1993

## ОТ АВТОРА

Работа над этой книгой была начата еще в 1978 году, в бытность мою научным сотрудником Института русской литературы (Пушкинский Дом) Академии наук (ср.: Русская литература. 1978. № 3; 1989. № 1). С благодарностью вспоминаю научные консультации покойной Елизаветы Николаевны Купреяновой. Основная часть книги написана в стенах Института имени Дж. Кеннана (Kennan Institute For Advanced Russian Studies), входящего в состав Интернационального центра имени Вудро Вильсона (The Woodrow Wilson Center) в Вашингтоне (США). Выражаю глубокую благодарность директору Кеннан-Института доктору Блэру Рублу (Blair A. Ruble), заместителю директора доктору Марку Титеру (Mark H. Teeter), директору Вильсон-Центра доктору Ч. Блитцеру (Charles Blitzer), а также всем коллегам, которые своим вниманием и заботой способствовали моей работе.

Я. С. Лурье

С.-Петербург, январь 1993 г.

## ВВЕДЕНИЕ

— Вот умрет Толстой и все к черту пойдет! — говорил он не раз.

— Литература?

— И литература.

Это слова Чехова, приведенные в воспоминаниях Бунина.<sup>1</sup>

Небольшой любитель теоретических рассуждений, Антон Павлович и в этом случае выражал свою мысль сугубо лапидарно. Интереснее всего в этом разговоре, пожалуй, последние слова Чехова. Если бы речь шла только и прежде всего о литературе, его мысль не казалась бы парадоксальной. Такого писателя, как Толстой, Россия иметь не будет — может быть, целый век. Но Чехов назвал литературу лишь во вторую очередь: «И литература». Что же означают его слова? Безмерно высокую оценку личности Толстого, веру в то, что авторитет «Льва Великого», как именовал Толстого Стасов, может спасти страну от катастрофы, падения «к черту»?

Пожалуй, это слишком гиперболично для Чехова, не любившего стасовского пафоса и преувеличений. Неизбежная и не столь уж далекая смерть яснополянского старца (кстати, пережившего Чехова шестью годами) означала в его глазах, скорее, конец эпохи, воплощением которой был в его понимании Лев Толстой.

Что же это была за эпоха, и как она воспринималась людьми нового века? Одна особенность ушедшего в прошлое времени ощущалась этими людьми особенно резко. Это рационализм, вера в человеческий разум, унаследованная от Просвещения, но еще более укрепившаяся в «век пара».

Рационализм был одной из характернейших черт толстовского мышления. Это не значит, конечно, что на рациональных посылах основывались все его убеждения, взгляды и пристрастия. Толстой был религиозен — во всяком случае, большую часть своей жизни. Его художественные вкусы были субъективны. Люди, не разделявшие верований и взглядов Толстого, возражали ему, — но это были не споры, а простое противопоставление различных взглядов. Атеист мог не принимать веры в Бога, орто-

---

<sup>1</sup> А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986. С. 490.

доксальный христианин — противопоставлять толстовскому христианству веру в догматы и обряды; Стасов, любивший Шекспира и не ценивший Гомера, не соглашался с Толстым, чьи оценки были противоположными. Но ясно, что логический спор во всех этих случаях был просто невозможен: для него не было общих исходных посылок.

Совершенно иначе обстояло дело с логическим развитием взаимно принятых различными сторонами позиций. Этические принципы Толстого имели своим источником Библию: моисеево десятизаконие (прежде всего — «Не убий»), ветхозаветную заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя» (Левит, XIX, 18) и, в особенности, евангельский завет непротивления злу насилем. Эти слова Толстой понимал прямо и буквально. Его оппоненты, стоя теоретически на тех же религиозных позициях, отвергали такое понимание, считая видимо, что библейские заповеди имеют не прямую, а какой-то иной — символический или иносказательный — смысл. Но почему их нужно было толковать таким образом? Для Толстого это было неприемлемо. Даже в «Исповеди», даже в своих религиозных сочинениях он писал, что если требования его ума не беспредельны, то все же они правильны — «без них я ничего понять не могу»: «Я хочу понять так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось как необходимость разума же, а не как обязательство поверить...»<sup>1</sup> Рационализм Толстого отразился и в «Плодах просвещения», обретших ныне, в дни воскресшего повсеместно увлечения парапсихологией и телепатией, новую актуальность, и в сцене причащения в «Воскресении». Рационализм предопределил резкое неприятие Толстым мистических сочинений и «видений» Владимира Соловьева, несмотря на то что нравственные поиски философа были во многом близки писателю.<sup>2</sup>

У Чехова толстовский рационализм, как и вообще рационализм XIX века, едва ли вызывал отрицательное отношение — скорее, он мог ему сочувствовать. Но такое мировоззрение было совершенно неприемлемо для философов и писателей первых десятилетий XX в. — «серебряного века», как они его называли. «Я никогда не сочувствовал толстовскому учению. Меня всегда отталкивал грубый толстовский рационализм... Он согласен принять лишь разумную веру; все, что кажется ему в вере неразумным, вызывает в нем протест и негодование... Толстой остался „просветителем“. Вся мистическая сторона христианства... вы-

<sup>1</sup> Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: В 90 т. М., 1928—1958. Т. 23. С. 37 и 57 (далее ссылки на это издание приводятся в тексте в скобках: том и страница).

<sup>2</sup> Маковицкий Д. П. Яснополянские записки. Кн. 1 // Литературное наследство. Т. 90, кн. 1. М., 1979. С. 399. Ср.: Лекция Вл. С. Соловьева о религии. Из цикла «Чтение о богочеловечестве», 10 марта 1878 г. (см.: Литературная Россия. 1976. № 16). Poleмике с Толстым В. Соловьев посвятил книгу: Соловьев В. Три разговора о войне, прогрессе и конце всемирной истории, со включением краткой повести об Антихристе и с продолжениями. 2-е изд. 1901. С. 1, 64, 114—115, 123, 194—195.

зывает в нем бурную реакцию просветительского разума...» — писал Н. А. Бердяев.<sup>1</sup>

«Легкомысленную грубость русского нигилиста шестидесятых годов» усматривал в Толстом и Д. Мережковский. Отвергая «живое тело христианства — таинства и обряды», Толстой, по словам Мережковского, падал «хуже, чем в бездну, — в яму при большой дороге, по которой ходят все...» Особенно раздражало автора «Христа и Антихриста» почитание Толстым «здорового смысла», который, по мнению Мережковского, можно пускать в заветные «области человеческого духа» «только для того, чтобы он здесь подчищал, подбирал, отворял и затворял двери, словом прислуживал, но только не приказывал...»<sup>2</sup>

В спор о «здоровом смысле» чета Мережковских пустилась даже во время поездки в Ясную Поляну. Вот как вспоминала этот спор Зинаида Гиппиус: «Мы говорили, конечно, о религии, и вдруг Толстой попадает на свою зарубку, начинает восхвалять „здравый смысл“.

— Здравый смысл — это фонарь, который человек несет перед собою. Здравый смысл помогает человеку идти верным путем. Фонарем путь освещен, и человек знает, куда ставить ноги.

Самый тон такого преувеличенного восхваления „здорового смысла“ раздражает меня, я бросаюсь в спор, почти кричу, что нельзя в этой плоскости придавать первенствующее значение „здоровому смыслу“, понятию, к тому же весьма условному... и вдруг спохватываюсь. Да на кого это я кричу? Ведь это же Толстой...»<sup>3</sup>

Если во время разговора с Толстым Зинаида Николаевна и спохватилась, то лишь ненадолго. Толстовский «фонарь здравого смысла» отвергался людьми XX века постоянно — и в годы первой мировой войны, и во время революции, и при наступлении европейского фашизма. Если мир в этом столетии и не пошел «к черту», как предсказывал Чехов, то не раз он оказывался близким к этой перспективе.

Что же значат сегодня идеи Толстого, и в частности, его отношение к государству, ко власти, к историческому процессу?

Предлагаемая книга — попытка ответить на этот вопрос.

---

<sup>1</sup> Бердяев Н. А. Собрание сочинений. Т. 3. УМСА-PRESS, 1989. С. 112—113.

<sup>2</sup> Мережковский Д. С. Толстой и Достоевский. СПб., 1902. Т. 2. С. 203—228.

<sup>3</sup> Гиппиус З. Живые лица. Воспоминания. Тбилиси, 1991. С. 156—158.

## I. ИСТОРИЧЕСКИЙ «АТОМИЗМ» В «ВОЙНЕ И МИРЕ»

В 1906 г. в письме к одному из своих друзей и помощников П. И. Бирюкову Толстой вспоминал, что «отрицательное отношение к государству и власти» окончательно сложилось у него под влиянием казни народовольцев в 1881 г. (которой он пытался воспрепятствовать), но что «началось это и установилось в душе давно, при писании „Войны и мира“ и было так сильно, что не могло усилиться, только уяснялось...» (76, 114).

На первый взгляд такое сближение впечатления от казни 1881 г. с писанием «Войны и мира» кажется неожиданным. «Война и мир» вовсе не воспринимается теперь как сочинение противогосударственное. Напротив, в представлениях многих читателей «Война и мир» — прежде всего эпопея, посвященная Отечественной войне, защите русского государства от завоевателей. Не только официозные писатели, вроде Леонова и Федина, декламировали об описанном Толстым «былинном поединке русских с многоязычной наполеоновской Европой», но даже такой независимый человек, как эмигрант М. Осоргин, писавший во Франции во время гитлеровской оккупации, именовал «Войну и мир» «библией русского патриотизма».<sup>1</sup>

Для того чтобы понять слова Толстого в письме Бирюкову, необходимо обратиться к историческим главам романа.

### Историческая концепция в первой завершённой и в окончательной редакции романа

В 60-х годах, когда Толстой писал «Войну и мир», он был в тесной связи со славянофилами, чье влияние на свое «духовное направление» он отмечал и впоследствии. Близок он был и к таким консерваторам, как М. Погодин и М. Н. Катков. Обращение к теме Отечественной войны было при таких настроениях вполне естественным. Явный перелом в мировоззрении Толстого обозначился уже в процессе написания «Войны и мира» (первоначально еще не имевшей этого названия); это особенно бросается в глаза при чтении глав, посвященных 1812 году (начало

<sup>1</sup> Леонов Л. Собр. соч. М., 1962. Т. 8. С. 399. Ср.: Федин К. Собр. соч. М., 1962. Т. 9. С. 30—31; Осоргин М. А. Мысли о Толстом // Russian Literature Triquarterly. Ann Arbor, 1982. V. 17. P. 199.

шестой и седьмой частей первоначальной редакции). Возражая Б. М. Эйхенбауму и другим авторам, считавшим, что Толстой начал писать роман как «хронику дворянской жизни», и лишь потом придал ему форму исторической эпопеи, Э. Е. Зайденшнур отметила, что уже первая редакция последней части романа (доведенная до конца 1812 года) — «многоплановое произведение», где «в историко-философских рассуждениях голос автора уже звучит громко и отчетливо». <sup>1</sup>

Текст первой завершенной редакции, ныне полностью опубликованный, действительно содержит ряд положений исторической философии Толстого, однако они еще не приведены в систему. Первоначальная редакция второй половины романа, посвященной 1812 году (начиная с части, которая была обозначена сперва как шестая), была написана Толстым уже после того, как была сдана в «Русский вестник» и стала публиковаться его первая половина, озаглавленная «1805 год».

Шестая часть начинается перепиской Наполеона и Александра весной 1812 г., далее следует первое в романе рассуждение об исторической необходимости: «Обыкновенно думают, что чем больше власти, тем больше свободы. Историки, описывая мировые события, говорят, что такое событие произошло от воли человека — Кесаря, Наполеона, Бисмарка и т. п., хотя сказать, что в России погибло 100 000 людей... потому что так хотел один или два человека, так же бессмысленно, как сказать, что подкопанная (гора) в миллион пудов упала потому, что последний работник Иван ударил под нее лопатой. Наполеон не привел в Россию Европу, но люди Европы привели его за собой... Отчего мы не говорим, что Аттила повел свои полчища, а уже понимаем, что народы шли с востока на запад (но не понимаем этого в новой истории...» (14, 12).<sup>2</sup>

Тема исторической необходимости развивается далее в седьмой части, где описывается сражение за Смоленск. Эта часть начинается словами: «Что должно было совершиться, то должно было совершиться» — и далее Наполеон и Александр, думавшие, что это они начали войну 1812 года, сравниваются с лошадью, вращающей колесо: «Лошадь, поставленная на покатоое колесо рушилки, думает, что она совершенно свободно... идет потому, что ей хочется взойти наверх, так точно думали все те неперечисляемые лица, участники этой войны... Такова неизменная судьба всех практических деятелей, и тем несвободнее, чем выше они стоят в людской иерархии, чем выше, тем более они связаны, чем круче колесо, тем быстрее и несвободнее идет лошадь...» (14, 59—60).<sup>3</sup> Далее следуют общие рассуждения о необходимости

<sup>1</sup> Зайденшнур Э. Е. 1) «Война и мир» Л. Н. Толстого. Создание великой книги. М., 1966. С. 66; 2) Как создавалась первая редакция романа «Война и мир» // Первая завершенная редакция романа «Война и мир». М., 1983. С. 9, 47, 53. (Литературное наследство. Т. 94).

<sup>2</sup> Первая завершенная редакция... С. 577.

<sup>3</sup> Там же. С. 627.

и свободе человека, о порочности всякой войны. Вновь возвращаясь к той же теме Толстой в описании Бородинского сражения, опровергая «в кровь и плоть перешедшее убеждение о гениальности полководцев»: «Действия Наполеона и Кутузова в Бородинском сражении были произвольны и бессмысленны». Вновь повторив эту фразу в конце главы, Толстой прибавил, что «историки под совершившиеся факты подвели хитросплетенные доказательства предвидения и гениальности полководцев, которые из всех произвольных орудий мировых событий были самыми рабскими и произвольными деятелями», и заключал: «...образцы героической истории» («Ромулы, Киры, Кесари») «для нашего человеческого времени... не имеют смысла».<sup>1</sup> Об этом же в дальнейшем повествовании говорит и князь Андрей Пьеру, утверждая, что для того, чтобы быть «главнокомандующим», «нужны не достоинство, а отсутствие честных свойств и ума», «нужно быть ничтожеством...» (14, 112—113).<sup>2</sup>

Такие же сомнения в «глубокомысленности» военного командования высказывал Толстой и в связи с описанием действий русской армии после отступления Наполеона из Москвы: «Бенигсен подкапывался под Кутузова, Кутузов под Бенигсена... Наконец явился гордый Лористон с письмом от Napoleon... Все боялись, как бы не изменил Кутузов. Но Кутузов как всегда отложил все, отложил и Лористона... Французы побежали стремглав и удивлялись, что их не всех забрали, потому что они уже не могли драться по-прежнему. Не забрали же их всех потому, что Кутузов поручил дело Бенигсену, и потому, чтобы подкатить Бенигсена, не дал ему войск, но и кроме того, опоздал — и оттого, что вне цепи, в целом помещичьем доме был кутеж у Шепелева... Все были хорошие генералы и люди, и рука бы не поднялась рассказывать их пляски и интриги, но досадно, что сами они писали державинским слогом о любви к царю и отечеству и т. п. вздор...» (14, 155—156).<sup>3</sup>

Но в первой завершенной редакции эти рассуждения не были еще объединены в некую единую концепцию. Только в окончательной редакции вслед за рассказом о Бородинском сражении был написан раздел (ныне первый раздел третьей части третьего тома), где ставился вопрос о «законах исторического движения», и весь роман в целом был завершен Эпилогом, содержащим развернутое изложение толстовской философии истории. Изменилась характеристика Кутузова, ставшего для Толстого воплощением полководца, не «делающего» историю, а подчиняющегося ей движению.

Мы не можем сказать, когда именно завершилась эта эволюция во взглядах Толстого. Но предпосылкой ее несомненно была та особенность толстовского мышления, о которой шла речь во

<sup>1</sup> Там же. С. 674. В Полном собрании сочинений этот фрагмент не опубликован.

<sup>2</sup> Там же. С. 688—689.

<sup>3</sup> Там же. С. 722.

введении к настоящей книге. «Одни люди в большинстве случаев... в поступках своих подчиняются чужим мыслям — обычаю, преданию, закону; другие же, считая свои мысли главными двигателями своей деятельности, почти всегда прислушиваются к требованиям своего разума и подчиняются ему...» — писал Толстой в «Воскресении» (32, 369). Сам он принадлежал именно к этой второй категории людей. Уже в первой завершённой редакции романа, говоря о фланговом марше русской армии, погубившем, по мнению историков, Наполеона после ухода из Москвы, Толстой писал, что понять глубокомыслие этого марша весьма трудно «для человека, не принимающего все на веру и думающего своим умом» (14, 154).<sup>1</sup> Как и почему начинаются войны? Почему в одних случаях власть может заставить людей подчиниться ее повелениям, а в других — не может? Решать все эти вопросы Толстой стремился не на основе общепринятых мнений, а исходя из «требований своего разума». В 1868 г. Толстой писал М. П. Погодину, что его «взгляд на историю» — «плод всей умственной работы» его жизни и составляет «нераздельную часть того мирозерцания, которое Бог один знает, какими трудами и страданиями выработалось во мне...» (61, 195).

### Восприятие критикой исторической концепции романа

Вышедшая в свет в 1869 г. «Война и мир» имела большой читательский успех, но успех этот явно не распространялся на исторические отступления в романе. В отступлениях этих критики усматривали черты «фатализма» и «мистической философии». Отрицательно отнеслись к историческим рассуждениям в романе Тургенев, Флобер, Г. Джеймс. Упреки, высказанные Толстому, были крайне противоречивы: наряду с обвинением в «мистическом фатализме» его упрекали также в следовании популярной в то время книге Г. Бокля «История цивилизации в Англии» — книге отнюдь не мистической.

Толстой пытался было ответить на эти упреки. В одном из корректурных вариантов последних частей книги он писал: «Во всех без исключения письменных и изустных критиках на 4-й том «Войны и мира» (3-й том окончательной редакции. — Я. Л.) мне было замечено, что... все что я излагал... — давно не только всем известно, но даже давно оставлено и ныне уже не в моде, что это мистическая, фаталистическая, боклевская школа истории. К несчастью, несмотря на то, что прежде чем излагать такие, как мне казалось, странные и противоречащие общему взгляду мысли, я перечитал много, я не нашел нигде этой мистической или какой другой школы, на которую мне указывают. Еще к большому несчастью, ни один из тех критиков, которые говорили мне, что это давно известно, не указали мне на те

<sup>1</sup> Там же. С. 721.

сочинения, в которых я мог бы найти это давно известное» (14, 415). Однако вставка эта не вошла в текст книги — возможно, Толстой пришел к выводу о бесполезности подобных разъяснений.

Историческим главам «Войны и мира» не посчастливилось и в последующие времена. Большинство читателей их пропускают или наскоро проглядывают, торопясь вернуться к основным героям романа; вторую часть Эпилога, выходящую за рамки сюжета, читают немногие. К философии истории Толстого исследователи и критики обращаются в основном в книгах, посвященных всему творчеству писателя или «Войне и миру» в целом, а также в отдельных статьях<sup>1</sup> — ни одной монографии о его исторических воззрениях не существует. Обширнейшая критическая литература о Толстом, вышедшая в свет за 120 с лишним лет со дня публикации романа, не сведена в единую международную библиографию. Авторы, пишущие на эту тему, ссылаются обычно на монографию Б. Эйхенбаума 1931 г.<sup>2</sup> и на статью И. Берлина 1951—1953 гг.;<sup>3</sup> высказывания других исследователей остаются, как правило, неизвестными их коллегам.

Историки уделяли мало внимания историческим взглядам Толстого; обычно о них писали литературоведы и публицисты. Две явные логические ошибки бросаются в глаза в большинстве критических высказываний на эту тему.

История не знает эксперимента; мы не можем повторить то или иное историческое событие с иными участниками и посмотреть, что из этого получится. Но людям, рассуждающим об истории, часто кажется, что они-то уж знают, какую роль сыграло

---

<sup>1</sup> *Кареев Н. И.* Историческая философия в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». СПб., 1888 (оттиск из журнала: Вестник Европы. 1887. № 7); *Лазерсон М.* Философия истории «Войны и мира» // Вопросы обществоведения. 1910. Вып. 11. С. 155—158, 162—164, 171, 182—188; *Рубинштейн М.* Философия истории в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» // Русская мысль. 1911. Июль. С. 80—90; *Перцев В.* Философия истории Л. Н. Толстого // «Война и мир». Сб. памяти Л. Н. Толстого. М., 1912. С. 136—142; *Арденс Ник. (Апостолов Н. Н.)*. К вопросам философии истории в «Войне и мире» Л. Толстого // Учен. зап. Арзамас. пед. ин-та. 1957. Вып. 1. С. 35, 72; *Oulianoff N.* Tolstoy's Nationalism // Review of National Literatures. 1972. III. P. 103; *Бочаров С.* Роман Л. Толстого «Война и мир». 3-е изд. М., 1978. С. 28; *Дьяков В. А.* Л. Н. Толстой о закономерности исторического процесса, роли личности и народных масс в истории // Вопросы истории. 1978. № 8. С. 27—39; *Seeley F. F.* Tolstoy's Philosophy of History // New Essays on Tolstoy. Cambridge Mass., 1979. P. 179—190; *Гулыга А.* Искусство истории. М., 1980. С. 241—253; *Morson G. S.* Hidden in Plain View. Narrative and Arcative Potentials in «War and Peace». Stanford, 1987. P. 84—92, 116—120; *Rosen N.* Notes on War and Peace // Tolstoy Studies Journal. 1990. Vol. III. P. 109—113. См. также ниже, примеч. 2—3, с. 12, примеч. 2, с. 13, примеч. 2—4.

<sup>2</sup> *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой. Л.; М., 1931. Кн. 2: 60-е годы. С. 317—397.

<sup>3</sup> *Berlin I.* The Hedgehog and the Fox // Berlin I. Russian Thinkers. London, 1978. P. 22—50. Первоначально статья была опубликована под заглавием «Lev Tolstoy's Historical Scepticism» (Oxford Slavonic Papers. 1951. Vol. II. P. 17—54); переиздана под нынешним названием в 1953 г.

то или иное историческое лицо и почему его действия привели к успеху или неудаче. Сразу же после выхода в свет «Войны и мира» военный историк М. Богданович советовал Толстому взять «на себя труд внимательно проследить сношения... императора Александра I и Наполеона» — тогда «он убедился бы, что на такой исход имели первостепенное влияние личные качества обоих государей и ближайших к ним лиц...»<sup>1</sup> А три четверти века спустя Р. Кернер, споря с Толстым, обращался к событиям начала XX столетия и писал: «...Мы знаем теперь, без малейшего сомнения, что Александр III имел немало шансов изменить ход событий и это же мог бы сделать Николай II, но они следовали линии мрачного Победоносцева».<sup>2</sup> Действительно ли мы это знаем? Решить такой вопрос без экспериментальной проверки невозможно.

Но кто же должен доказывать в данном случае свои утверждения? Вторая логическая ошибка людей, убежденных в важном значении тех или иных исторических деятелей, заключается в забвении принципа, сформулированного еще в римском праве и имеющего, очевидно, и общее логическое значение: обязанность (бремя) доказательства (*onus probandi*) лежат на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает. Не тот, кто ставит под сомнение роль Наполеона или других деятелей в исходе событий, должен доказывать свое негативное мнение, а тот, кто утверждает ее значение. Но почитатели «великих людей» этого не делают, да и не могут (из-за недоступности экспериментальной проверки) сделать.

Спор между теми, кто приписывает историческим деятелям важнейшую роль, и теми, кто сомневается в этом, мог бы вестись в ином направлении, — в зависимости от того, каким более общим вопросом намерен заниматься данный историк. «Биографии Наполеонов, Екатерин со всеми подробностями придворной сплетни» могут представлять интерес сами по себе (скажем, для романистов типа Дюма или их почитателей), но полагать, что они «служат выражением жизни народов», писал Толстой, — «очевидная бессмыслица» (12, 311). Толстого интересовало, «какая сила движет народами», но вместо ответа на этот вопрос он находил у историков сообщения, что «Наполеон был очень гениален, или то, что Людовик XIV был очень горд...» (12, 300).

Спор может идти лишь о том, какая точка зрения более последовательна, менее противоречива, дает ли она достаточное или неполное объяснение фактов, и т. д. Однако авторы, отвергавшие взгляды Толстого, как правило, не вникали во внутреннюю логику его рассуждений. Они просто исходили из того, что роль «великих людей» и правителей в истории «общеизвестна», а вся-

---

<sup>1</sup> М. Б. Что такое «Война и мир» графа Л. Н. Толстого? // Голос. 1868. № 129. С. 2.

<sup>2</sup> Kerner R. J. Tolstoy's Philosophy of History // University of California. Chronicle. 1939. 31. P. 45.

кле сомнения отвергали как ненужное оригинальничанье, как экстравагантные взгляды великого писателя. Толстому приписывалось и отрицание причинности в истории, и следование философам, признававшим закономерность исторического процесса, — Гегелю или Боклю; его упрекали не только в крайнем рационализме, но и в иррационализме, в элементарных логических ошибках и в «диком и безрассудном» экстремизме его логики.

Не пытаясь понять систему рассуждений Толстого, критики чаще стремились найти истоки его заведомых заблуждений. Именно так рассуждали наиболее влиятельные авторы, разбиравшие философию истории Толстого, — Б. Эйхенбаум и И. Берлин. Б. Эйхенбаум считал, что философия истории Толстого зародилась в «кружке архаистов, непосредственно связанных со славянофильством», была направлена против «разночинцев», реалистов с их дарвинизмом» и «была, конечно, антиисторична».<sup>1</sup> И. Берлин, призывавший рассматривать исторические доктрины Толстого так же серьезно, как Толстой хотел их представить читателям, склонен был, однако, видеть в них воззрения, проливающие свет скорее «на одного гениального человека, чем на судьбу всего человечества». Вслед за А. Сорелем И. Берлин считал важнейшим источником мировоззрения Толстого взгляды противника рационализма XVIII в. Жозефа де Местра.<sup>2</sup> Р. Сэмпсон справедливо заметил в связи с этим, что если мы хотим серьезно рассматривать «вклад человека в весьма важную проблему», странно подходить к ней только с точки зрения «того света, который она проливает на автора, но не того света, который сам автор хотел пролить на проблему».<sup>3</sup>

Далеко не все критики, писавшие о «Войне и мире», отвергли философию истории Толстого. Значительный вклад в понимание этой философии внесли В. Ф. Асмус, А. А. Сабуров, Е. Н. Купреянова, Р. Сэмпсон, Дж. Ралей, Э. Весёлек.<sup>4</sup>

Однако наблюдения этих и ряда других авторов не были еще сведены в какое-либо систематическое изложение взглядов Толстого на исторический процесс. Конечно, описание этой системы,

<sup>1</sup> Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Кн. 2. С. 340—341, 355—357, 375.

<sup>2</sup> Berlin I. The Hedgehog and the Fox. P. 29—32, 43, 49—50, 56—79. Ср.: Sorel A. Tolstoï historien // Lectures historiques. Paris, 1894. P. 269—274; ср. также: Haumant E. La culture française en Russie. Paris, 1910. P. 490—492.

<sup>3</sup> Sampson R. V. The Discovery of Peace. London, 1973. P. 1—2.

<sup>4</sup> Асмус В. Ф. Причина и цель в истории по роману Л. Н. Толстого «Война и мир» // Из истории русских литературных отношений XVIII—XX в. М.; Л., 1959. С. 199—210; Сабуров А. А. «Война и мир» Льва Толстого. Проблематика и поэтика. М., 1959. С. 277—287; Купреянова Е. Н.: 1) Эстетика Льва Толстого. М.; Л., 1966. С. 194—199; 2) О проблематике и жанровой природе романа Л. Толстого «Война и мир» // Русская литература. 1985. № 1. С. 162; Sampson R. V. The Discovery of Peace. P. 125—167; Raleigh J. H. Tolstoy and the Ways of History // Towards a Poetics of Fiction / Ed. by M. Spilka. Bloomington, 1977. P. 241—244; Wasiolek E.: 1) The Theory of History in War and Peace // Midway. 1968. 9. P. 117—135; 2) Tolstoy's Major Fiction. London, 1978. P. 112—127.

предлагаемое здесь, будет неизбежно схематичным, ибо оно не может включить весь комплекс рассуждений из соответствующих глав «Войны и мира», но оно все же может быть полезным.

### Историческая необходимость: Толстой, Гегель и Бокль

Важнейшая мысль Толстого, с которой он начинает повествование о войне 1812 года, заключается в том, что историческое событие является следствием совпадения бесконечного множества причин. «Без одной из этих причин ничего не могло быть. Стало быть, причины эти — миллиарды причин — совпали для того, чтобы произвести то, что было... Для того, чтобы воля Наполеона и Александра (тех людей, от которых, казалось, зависело событие) была исполнена, необходимо было совпадение бесчисленных обстоятельств, без одного из которых событие не могло бы совершиться. Необходимо было, чтобы миллионы людей, в руках которых была действительная сила, солдаты, которые стреляли, везли провиант и пушки, чтобы они согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей, и были приведены к этому бесконечным количеством сложных, разнообразных причин... Человек сознательно живет для себя, но служит бессознательным орудием для достижения исторических общечеловеческих целей...» (11, 5—6).<sup>1</sup> Может ли такое воззрение рассматриваться как фатализм (в котором часто обвиняли Толстого)?

В наброске предисловия к «Войне и миру» Толстой писал, что «фатализм для человека такой же вздор, как произвол в исторических событиях» (13, 56). В окончательной редакции мы читаем: «Фатализм в истории неизбежен для объяснения неразумных явлений (то есть тех, разумность которых мы не понимаем)» (11, 6) — т. е. неизбежен, пока мы не понимаем причин исторического процесса. Не определяются ли исторические «общечеловеческие цели» высшим существом — Провидением? В первоначальной редакции, сравнивая Наполеона и Александра с лошадью, вращающей колесо, Толстой упоминал «высшего машиниста», заставлявшего русских военачальников соединиться только под Смоленском.<sup>2</sup> Но в той же редакции, в рассуждении, предшествовавшем рассказу о начале войны 1812 года, Толстой толковал «слова Соломона» «сердце царевы в руке божьей» (Экклесиаст, IX, 1) в том смысле, что «царь — есть раб истории, стихийного события, и у него произвола менее, чем у людей».<sup>3</sup> В окончательной редакции слова о «высшем машинисте» были исключены, а вслед за словами «царь — есть раб истории» сама:

<sup>1</sup> «Война и мир» в составе Полного собрания издавалась дважды — в 1930—1932 гг. и в 1940 г. При пользовании т. 11 в издании 1940 г. (я его фототипическом воспроизведении 1992 г.) к приведенным нами номерам страниц следует прибавить 1—3.

<sup>2</sup> Первая законченная редакция... С. 632.

<sup>3</sup> Там же. С. 578.

история определялась как «бессознательная, роевая жизнь человечества» (11, 5—6).

Еще более последовательно высказана идея исторической необходимости в Эпиллоге романа. «Есть законы, управляющие событиями, отчасти неизвестные, отчасти нащупываемые нами. Открытие этих законов возможно только тогда, когда мы вполне отрешимся от отыскания причин в воле одного человека, точно так же, как открытие законов движения планет стало возможно только тогда, когда люди отрешились от представления утвержденности земли» (12, 66—67). Эта мысль о законах истории была важным уточнением положения об «исторических, общечеловеческих целях», которым подчиняются все (в том числе и «великие») люди. Появление этого мотива в последних частях книги не осталось незамеченным современниками. «На месте предвечного определения мы с удивлением видим законы истории, эти *ria desideria* Бокля!.. — писал критик Н. Ахшарумов. „Что это за метаморфоза? спрашивает мы себя. И неужели автор воображает, что это одно и то же?“<sup>1</sup> В построении Толстого эти понятия действительно имели сходный, почти тождественный смысл.<sup>2</sup>

Признание закономерности, неизбежности исторических событий — т. е. то, что обычно определяется как исторический детерминизм, — сближает философию истории Толстого с философией Гегеля.<sup>3</sup> Но еще существеннее различия между ними. Останемся пока на одном из них: подчинив историю Мировому разуму, Гегель, однако, сделал его воплощением «всемирно-исторических индивидуумов», отводя им (например, Наполеону) важнейшую роль в истории. Преклонение перед государственной властью и ее носителями, свойственное Гегелю и ортодоксальным гегельянцам, было совершенно чуждо Толстому. Взгляд на исторических деятелей как на героев, одаренных «особой силой души и ума и называемой гениальностью», абсурдна, «ибо, не говоря о людях-героях, как Наполеон, о нравственных достоинствах которых мнения весьма противоречивы, история показывает нам, что ни Людовики XI-е, ни Меттернихи, управлявшие миллионами людей, не имели никаких особенных свойств силы душевной, а, напротив, были по большей части нравственно слабее каждого из миллионов людей, которыми они управляли». Не убедительно и представление, что «власть есть совокупность воли масс, перенесенная выраженным или молчаливым согласием на избранных массами правителей». «Если власть есть перенесен-

<sup>1</sup> Ахшарумов Н. «Война и мир», сочинение гр. Толстого. Т. V // Всемирный труд. 1869. № 3. С. 69.

<sup>2</sup> Ср.: Raleigh J. H. Tolstoy and the Ways of History. P. 220.

<sup>3</sup> Ср.: Рубинштейн М. Философия истории в романе «Война и мир» // Русская мысль. 1911. Июль. С. 97; Скафтымов А. Образ Кутузова и философия истории в романе Л. Толстого «Война и мир» // Русская литература. 1959. № 2. С. 81—87; Громов П. О стиле Льва Толстого. «Диалектика души» в «Войне и мире». Л., 1977. С. 374—385, 426—434.

ная на правителя совокупность воли, то Пугачев есть ли представитель воли масс?» — спрашивал Толстой. «Если не есть, то почему Наполеон есть представитель? Почему Наполеон III, когда его поймали в Булони (когда он был еще претендентом на престол Луи Бонапартом. — *Я. Л.*), был преступник, а потом были преступники те, кто его поймал?.. При международных отношениях переносится ли воля масс народа на своего завоевателя? Воля массы русского народа была ли перенесена на Наполеона во время 1809 года, когда наши войска в союзе с французами шли воевать против Австрии?» (12, 308—314).

Все эти вопросы — в частности вопрос о Пугачеве — были весьма многозначительны. Перед нами, очевидно, отправной момент тех размышлений, которые дали основание Толстому много лет спустя говорить, что его «отрицательное отношение к государству и власти» началось и установилось в душе при написании «Войны и мира». Никакого благоговения перед гегелевскими «всемирно-историческими» личностями, носителями власти Толстой не испытывал. «...В исторических событиях так называемые великие люди суть ярлыки, дающие наименование событию, которые, так же, как ярлыки, менее всего имеют связи с этим событием» (11, 7). А отсюда и противопоставление, данное в Эпизоде, истории «отдельных лиц» истории «всех, без одного исключения, всех людей, принимавших участие в событии» (12, 305, 405).

Интерес Толстого к «истории всех», к массовым процессам, сближал его не с Гегелем и гегельянцами, а с Г. Боклем. О влиянии «Истории цивилизации в Англии» Г. Бокля на «Войну и мир» писали не раз. Однако Б. Эйхенбаум отрицал это влияние, заявив, что Бокль для Толстого — «источник второстепенный и нехарактерный»; к мнению Эйхенбаума присоединились и другие авторы.<sup>1</sup> Однако Толстой высоко ценил Бокля, характеризуя его как историка, стоящего «ближе всех к истине» (15, 222). Сущность этой истины заключалась, по мнению Толстого, в предостережении об изменяемости мира и изменении человеческой личности, об их подчинении определенным объективным законам. «С тех пор, как сказано и доказано, что количество рождений или преступлений подчиняется математическим законам и что известные географические и политико-экономические условия определяют тот или иной образ правления... с тех пор уничтожились в сущности те основания, на которых строилась история», — писал Толстой (12, 339), и это его замечание прямо перекликалось с идеями Бокля, начавшего «Историю цивилизации в Англии» рассуждениями о том, что статистика убийств и самоубийств свидетельствует о закономерности исторических процессов.<sup>2</sup> Развивая далее эту мысль, Толстой указывал, что «если

<sup>1</sup> Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Кн. 2. С. 325. Ср.: Sampson R. V. The Discovery of Peace. P. 116; Morson G. S. Hidden in Plain View. P. 85.

<sup>2</sup> Бокль Г. История цивилизации в Англии. СПб., 1906. С. 9—15.

такой-то образ правления установился, или какое-то движение народа совершилось вследствие таких-то географических, этнографических или экономических условий, то воля тех людей, которые представляются нам установившимися образ правления или возбудившими движение народа, уже не может быть рассматриваема как причина» (12, 340).

Но отдавая должное Боклю, как историку нового направления, Толстой все же расходился с ним в вопросе, который казался ему особенно важным. Развитие истории определялось, по представлению Бокля, прогрессом научных знаний, и главными двигателями ее в его глазах были ученые и изобретатели. Толстой справедливо усматривал в этом отказ от идеи исторической необходимости, введение субъективного, оценочного подхода к истории: «Бокль противуречит более других, и попытки признания необходимости невозможны, потому что» есть идеал и потому осуждение, и потому признание свободы» (13, 48), — писал он в одном из набросков эпилога. «...Видя перед собой кажущиеся неразрешимыми трудности описания масс, следуя старым преданиям истории и не желая отказаться от права оправдания и осуждения исторических деятелей, историк в ответ на вопросы человечества о законах видоизменения масс, продолжает отвечать описанием исторических деятелей, которыми одни признают царей и министров, а Бокль, стоящий ближе всех к истине, но потому более всех противуречивый — цивилизаторов человечества» (15, 222).

В этом случае Бокль оказывался еще более непоследовательным, чем историки, приписывавшие решающую роль власти и ее носителям. При всей его условности, понятие власти, указывал Толстой, «есть единственная ручка, посредством которой можно владеть матерьялом истории при теперешнем ее изложении, и тот, кто отломил бы эту ручку, как то сделал Бокль, не узнав другого приема обращения с матерьялом, тот только лишил бы себя последней возможности обращаться с ним» (12, 305).

Толстой вовсе не отрицал значение власти в историческом процессе. Совершенно неправ поэтому Ф. Сили, усматривающий в рассуждениях Толстого очевидные «логические и фактические ошибки»: Толстой, по мнению критика, отрицал роль власти, смешивая понятие «причины» как «достаточного условия» с понятием «причины» как «необходимого условия». В действительности, указывает Ф. Сили, власть и приказ правителя не являются «достаточными условиями» для осуществления исторического события, ибо нужна еще корреляция с другими факторами, но они являются «необходимым условием», без которых событие не может произойти.<sup>1</sup>

Но Толстой, вопреки Ф. Сили, считал власть как раз единственной силой, «заставляющей людей направлять свою деятельность к одной цели» (12, 304—305). Возражая «историкам куль-

<sup>1</sup> Seeley F. F. Tolstoy's Philosophy of History. P. 182.

туры» (например, Г. Боклю), думавшим, что история управляется «идеями», он писал: «Возможно понять, что Наполеон имел власть, и потому совершилось событие... но каким образом книга „Contrat Social“ («Общественный договор» Руссо. — Я. Л.) сделала то, что французы стали топить друг друга, — не может быть понято без объяснения причинной связи — этой новой силы с событием» (12, 303).

Власть, по Толстому, — необходимое условие совершения событий, «самая сильная, неразрываемая, тяжелая и постоянная связь с другими людьми», но она же «в своем истинном значении есть только наибольшая зависимость от них» (16, 16). Почему в одних случаях носитель власти достигает успеха, а в других — терпит неудачу? Почему происходят войны, революции, движения масс, почему иногда они побеждают, а иногда нет? Именно такие проблемы стремился решить Толстой, обращаясь к истории. Но Ф. Сили явно не понял стремления писателя ответить на эти «проклятые вопросы».

Не принял взгляда Толстого на роль и значение власти и автор, гораздо более сочувственно отнесшийся к его философии истории, — Р. Сэмпсон. Р. Сэмпсон одобряет отказ Толстого от культа «великих людей», его утверждение, что они — лишь «ярлыки, дающие наименование событию», он видит в этом «Коперниканскую революцию» в понимании истории. Но почему происходят войны и другие исторические события? Ответ Сэмпсона на этот вопрос однозначен. Причина их — «любовь к власти, существующая в человеческой душе», «воля к власти внутри человека». Объяснение это представляется автору настолько ясным и исчерпывающим, что он усматривает некое противоречие в том, что Толстой видит порочность войны и вместе с тем признает ее историческую обусловленность.<sup>1</sup> Аналогичные поправки к толстовской «определенной и конструктивной» теории исторического процесса предлагал еще до Р. Сэмпсона Ч. Морган. Он считал, что Толстой впал в ошибку, не сумев «уяснить разницу между группами, которые несут зло, и группами, которые несут благо».<sup>2</sup> Вопрос, поставленный Толстым, — почему побеждают то одни, то другие группы, почему власть в одних случаях оказывается всемогущей, а в других бессильной, — у обоих авторов остался без ответа.

Необходимость доведения анализа до конца — главное условие объяснения исторических процессов. Толстой пояснил эту мысль на таком примере.

«Идет паровоз. Спрашивается, отчего он движется? Мужик говорит: черт движет его. Другой говорит, что паровоз идет оттого, что в нем движутся колеса. Третий утверждает, что причина заключается в дыме, относимом ветром.

Мужик неопровержим: он придумал полное объяснение. Для того чтобы его опровергнуть, надо, чтобы кто-нибудь доказал ему, что нет черта, или чтобы другой мужик объяснил, что не черт, а немец движет паровоз... Но тот, который говорит, что причина есть движение колес, сам себя опровергает, ибо если он вступил на почву анализа, он должен идти дальше и дальше: он дол-

<sup>1</sup> Sampson R. V. The Discovery of Peace. P. 125, 157, 166—167.

<sup>2</sup> Morgan Ch. Reflections in a Mirror. N. Y., 1945. P. 202—209.

жен объяснить причину движения колес. И до тех пор, пока он не придет к последней причине движения паровоза, к сжтому в паровике пару, он не будет иметь права остановиться в отыскивании причины. . .

Единственное понятие, которое может объяснить движение паровоза, есть понятие силы, равной видимому движению. Единственное понятие, посредством которого может быть объяснено движение народов, есть понятие силы, равной всему движению народов» (12, 304—305).

Что же это за «сила», «последняя причина», «пар» исторического движения? Ответ на этот вопрос несколько раз дается в романе. Ход мировых событий «зависит от совпадения многих произволов людей, участвующих в этих событиях» — читаем мы в третьем томе (11, 219). Как отметила Е. Н. Купреянова, в «Войне и мире» историческое событие (например, сражение под Аустерлицем) «есть равнодействующая разнонаправленных волей, образующая, по Толстому, историческую необходимость, слагающуюся из бесконечно малых элементов свободы, отпущенных каждому из участников описанных исторических событий. И поэтому никакая индивидуальная воля — Наполеона, Александра и любого другого лица, стоящего у кормила власти, — не может быть действительной и единственной причиной того или иного исторического события, необходимость которого обуславливается действием всех стихийно творящих его «человеческих масс». Но стихийно не в смысле бессознательно, как это обычно трактуется, а в смысле стихийно складывающегося исторического результата вполне сознательных, но различных, противоречивых личных устремлений и именно поэтому не совпадающего ни с одним из них».<sup>1</sup>

Замечания эти верно, на наш взгляд, характеризуют взгляды Толстого на причинность в истории. Но и Е. Купреянова, как и другие авторы, не уделила достаточного внимания одному очень важному понятию в системе рассуждений писателя.

### «Дифференциал истории»

Третью часть третьего тома романа Толстой начал с рассуждения о понятии бесконечно малых, позволяющих математике решить известный «софизм древних, состоящий в том, что Ахиллес никогда не догонит впереди идущую черепаху, несмотря на то что Ахиллес идет в десять раз быстрее черепахи: как только Ахиллес пройдет пространство, отделяющее его от черепахи, черепаха пройдет впереди его одну десятую этого пространства; Ахиллес пройдет эту десятую, черепаха пройдет одну сотую и т. д. до бесконечности. . . Бессмысленность решения (что Ахиллес никогда не догонит черепаху) вытекала из того только, что

<sup>1</sup> Купреянова Е. Н. Эстетика Льва Толстого. С. 199; ср. С. 194.

произвольно были допущены прерывные единицы движения, тогда как движение и Ахиллеса и черепахи совершались непрерывно... Новая отрасль математики, достигнув искусства обращаться с бесконечно малыми величинами, и в других более сложных вопросах движения дает теперь ответы на вопросы, казавшиеся неразрешимыми». Такое же обращение к «бесконечно малым величинам» позволяет, по мнению Толстого, понять «законы исторического движения». «Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения — дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории» (II, 264—266).

Понятию «дифференциала истории», которому Толстой придавал столь важное значение, не посчастливилось в последующей литературе. Б. М. Эйхенбаум нашел аналогичный термин в «Исторических афоризмах» М. П. Погодина и без дополнительной аргументации заявил, что «толстовский термин „дифференциал истории“ взят, оказывается, у Погодина».<sup>1</sup> С мнением Эйхенбаума согласился и Р. Сэмпсон.<sup>2</sup> Однако оно весьма сомнительно. Погодин употребил однажды термин «дифференциал истории», не придавая ему никакого конкретного значения, — для того чтобы предостеречь «непосвященных», которые могли бы критиковать его «Исторические афоризмы», не зная истории: «История, скажу здесь кстати, имеет свои логарифмы, дифференциалы и тайнства, доступные только для посвященных», — разъяснял таким профанам Погодин.<sup>3</sup> Слова о «логарифмах» и «дифференциалах» — здесь просто набор первых пришедших на память математических терминов, не имеющих никакого значения в системе рассуждений Погодина. Совершенно иное значение имело это понятие для Толстого.

Что такое «дифференциал истории» в «Войне и мире»? Это «однородные бесконечно малые элементы, которые руководят массами» и интегрирование которых дает возможность понять законы истории. Важнейшее значение имеет здесь понятие «однородности» влечений. Если бы, как подчеркнул Е. Купреянова, эти влечения были только «разнонаправленными», «противоречивыми»,<sup>4</sup> то они не могли бы образовать никакую равнодействующую (даже в пределах национальной истории). Не учитывая этой «однородности», исходя из представления об абсолютной разнонаправленности толстовских «дифференциалов истории», М. Лазерсон, а потом и Р. Сэмпсон утверждали невозможность их интегрирования, а следовательно, и установления каких-либо законов истории.<sup>5</sup> Для того чтобы какое-то движение истории происходило, нужно предполагать некую общность стремлений отдельных единиц человеческой массы, «однородность» их «влечений».

<sup>1</sup> Эйхенбаум Б. Лев Толстой. Кн. 2. С. 334; ср. С. 363.

<sup>2</sup> Sampson R. V. The Discovery of Peace. P. 116.

<sup>3</sup> Погодин М. Исторические афоризмы. М., 1836. С. VII.

<sup>4</sup> Купреянова Е. Н. О проблематике и жанровой природе романа Л. Толстого «Война и мир». С. 162.

<sup>5</sup> Лазерсон М. Философия истории «Войны и мира». С. 157; Sampson R. V. The Discovery of Peace. P. 167.

И Толстой приводит примеры таких «однородных влечений». На «однородных влечениях» основывается действие армии Наполеона перед Бородинской битвой: «Солдаты французской армии шли убивать русских солдат в Бородинском сражении не вследствие приказа Наполеона, но по собственному желанию. Вся армия: французы, итальянцы, немцы, поляки, — голодные, оборванные, измученные походом, — в виду армии, загоразживавшей от них Москву, чувствовали, что *le vin est tiré et qu'il faut le boire*. . . Ежели бы Наполеон запретил им теперь драться с русскими, они бы его убили и пошли бы драться с русскими, потому что это было им необходимо. . .» Почему необходимо? Толстой здесь вовсе не обвинял французов в особой воинственности. Наполеоновские войска шли, «чтобы найти пищу и отдых победителей в Москве» (11, 219—220).

Ход мировых событий «зависит от совпадения многих произволов людей, участвующих в этих событиях» — читаем мы в третьем томе (11, 219). «Дифференциалы истории» — это однородные, достаточно элементарные «влечения людей». Тема «однородных влечений» людей присутствует не только в исторических отступлениях «Войны и мира», но и в сюжетных главах — например, в рассказе о пребывании Пьера в плену. «Здесь, теперь только Пьер оценил наслаждение еды, когда хотелось есть, питья, когда хотелось пить, сна, когда хотелось спать, тепла, когда было холодно, разговора с человеком, когда хотелось говорить и послушать человеческий голос. Удовлетворение потребностей — хорошая пища, чистота, свобода — теперь, когда он был лишен всего этого, казалось Пьеру совершенным счастьем. . .» (12, 98). «Удовлетворение потребностей» — это и есть те «однородные влечения», которые барин Пьер ощутил только в плену, но которые были для крестьянина Каратаева главной заботой его жизни.

К теме неотвратимости массового движения, вызванного элементарными «однородными влечениями», Толстой обращался и через много лет после «Войны и мира», в одной из своих последних повестей «Ходынка». Здесь описывалось состояние одного человека в многотысячной толпе, собравшейся во время коронации Николая II: «Емельян. . . рвался вперед. . . потому только, что все рвались. . . Он увидел палатки, те палатки, из которых должны были раздавать гостинцы. . . та с начала поставленная себе цель: дойти до палаток и получить мешок с гостинцами. . . влекла его» (38, 208—209).

Рассуждение Толстого о стремлении наполеоновской армии вступить в Москву, чтобы найти там «пищу и отдых победителей», помогает понять и его высказывание, которое казалось исследователям «Войны и мира» наиболее парадоксальным. Мы имеем в виду утверждение Толстого, что отказ Наполеона «отвести свои войска за Вислу и отдать назад герцогство Ольденбургское» можно считать причиной войны 1812 года не в большей степени, чем «желание или нежелание первого французского кап-

рама поступить на вторичную службу», и что для возникновения войны необходимо было, чтобы миллионы ее участников «согласились исполнить эту волю единичных и слабых людей» (II, 5). Даже А. А. Сабуров, очень внимательно рассмотревший философию истории Толстого и давший убедительный комментарий к ряду ее положений, усмотрел в этом сопоставлении Наполеона с «последним капралом» «очевидный софизм», связанный с присутствием Толстому игнорированием факта существования «государственного аппарата, являющегося огромным коэффициентом при личной силе носителя власти». Благодаря роли этого аппарата людям, для того чтобы исполнить волю носителей власти, «вовсе не надо было „соглашаться“»: «Вот для того, чтобы не „исполнить“ волю упомянутых якобы единичных людей, им действительно надо было „согласиться“, и для этого понадобились усилия нескольких поколений». Наполеон не мог бы быть «рабом истории» и осуществлять исторический процесс, «если бы его роль как личности была равна нулю или одной мельчайшей единице, рядовому капралу, дифференциалу истории».<sup>1</sup>

Справедливым представляется здесь только утверждение, что для рядового человека подчиниться воле сильной власти несравненно легче, чем противостоять ей. Само собой разумеется, что отказ одного капрала от вторичной службы имел бы для него другие последствия и произвел иное впечатление, чем отказ Наполеона от принятых им решений. Но Толстой, вопреки распространённому, но неверному пониманию его слов,<sup>2</sup> считал «дифференциалом истории» не одного капрала, не одного рядового человека, а «однородные влечения людей». И решающая роль этих «дифференциалов» сказывается при интегрировании их. Об этом и говорил Толстой в своем рассуждении о «капрале»: «... ежели бы он не захотел идти на службу и не захотел бы другой и третий, и тысячный капрал и солдат, насколько менее людей было бы в войске Наполеона». Говоря о том, что солдаты Наполеона «согласились» пойти на войну, Толстой вовсе не имел в виду некий договор. Войска Наполеона «согласились» сражаться за Москву и вступить в нее, ибо они стремились к отдыху и зимним квартирам. Но когда их встретили пустая столица, голод и холод, они с еще большей силой устремились обратно. Можно ли сказать, что они «согласились» подчиниться приказу Наполеона об отступлении из России? Не правильнее ли будет сказать, что, скорее, Наполеон «согласился» на это стихийное движение, которое вовсе не входило в его первоначальные намерения?

Верно, что для того, чтобы осуществились революции во Франции, в России и в других странах, понадобились «огромные усилия нескольких поколений». Но акт взятия Бастилии в 1789 году, революции 1830 и 1848 годов во Франции, февраль-

<sup>1</sup> Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого. С. 287.

<sup>2</sup> Перцев В. Философия истории Л. Н. Толстого. С. 142; Сабуров А. А. «Война и мир» Л. Н. Толстого. С. 282.

ская революция 1917 года и августовские события 1991 года в России не были следствием какого-либо конкретного «соглашения» между ее участниками. Людовик XVI, Карл X, Луи-Филипп, Николай II, Янаев и Язов имели, как и Наполеон, свой «государственный аппарат» и войско. Но войско это в критический момент не «согласилось» защищать власть, а рядовые граждане «согласились» ей противостоять. Свержение власти, как и подчинение ей, часто бывает стихийным процессом, в определенный момент подводящим итог «усилиям нескольких поколений».

### Толстой и исторический материализм

Решающая роль, которую придавал Толстой «однородным влечениям людей», «удовлетворению потребностей», сближала его уже не с Гегелем и не с Боклем, а скорее, с учением, сыгравшим важную, но противоречивую роль в истории русской общественной мысли. Овладев умами многих представителей русской интеллигенции в начале XX века, оно стало затем всеобщей, обязательной идеологией, почти религией, чтобы подвергнуться в последние годы столь же всеобщему и обязательному отрицанию. «...Люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и одеваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и т. д.». Если бы Толстому предложили такую формулировку его идеи об удовлетворении «однородных влечений людей» (еда, питье, сон, тепло, разговор с другим человеком) как главным двигателе — «дифференциале» исторического процесса, он бы, по всей видимости, от нее не отказался. Но Толстой не знал этих слов, ибо они были произнесены через пятнадцать лет после «Войны и мира» Энгельсом, назвавшим над могилой своего друга этот «простой закон» главной идеей Маркса.<sup>1</sup>

Как это ни странно, наиболее авторитетные марксистские теоретики совершенно игнорировали черты совпадения между историческим детерминизмом Толстого и историческим материализмом — не заметили их ни Плеханов, ни Роза Люксембург, ни Г. Лукач. Но уже Дж. Фаррелл отметил сходство между исторической концепцией Толстого и высказываниями Маркса и Энгельса.

Своей книге «Литература и мораль» Фаррелл предпослал эпиграф из «18-го брюмера Луи Бонапарта» Маркса о том, что «люди сами делают свою историю, но они делают ее не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые они не сами выбрали, а которые непосредственно имеются налицо». В главе «История и война в „Войне и мире“ Толстого» Фаррелл привел также замечание Энгельса, что «когда люди „делают“ историю,

<sup>1</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 19. С. 350.

то каждый преследует свои собственные, сознательно поставленные цели, а общий итог этого множества действующих по различным направлениям стремлений и их разнообразных воздействий на внешний мир — это и есть история» и что «действующие в истории многочисленные отдельные стремления в большинстве случаев влекут за собой не те последствия, которые были бы желательны», и «возникает новый вопрос: какие движущие силы скрываются, в свою очередь, за этими побуждениями». Дж. Фаррелл справедливо заметил, что это высказывание «читается как обобщенное изложение проблем, поставленных в „Войне и мире“». <sup>1</sup>

Е. Н. Купреянова отметила совпадение взглядов Толстого с рассуждениями Энгельса (в письме И. Блоху) о «волях отдельных людей», сочетающихся в едином «параллелограмме сил». <sup>2</sup> А. А. Сабуров осмыслил важнейшую мысль Толстого о наполеоновских войнах, как движении «миллионов людей» «Запада» для завоевания «Востока» (11, 3, 6, 8, 266) в понятиях исторического материализма: «Это была агрессия нового победившего класса, мобилизовавшего силы Западной Европы на подчинение стран Востока, готового превратить в колонии старые культурно-исторические государственные образования». <sup>3</sup> На наш взгляд, скорее можно было бы в этом случае говорить не о сознательных планах «нового победившего класса», а о том, что новые условия оторвали от сельского хозяйства множество людей, устремившихся на завоевание менее развитых стран. В конечном счете «движение» пошло не в том направлении, в котором оно развивалось первоначально: покорить Восточную Европу французским войскам не удалось, но Африка и большинство азиатских стран подверглись в XIX в. завоеванию (французскому и английскому), и осуществили его отнюдь не «гениальные полководцы», а сугубо посредственные военачальники.

Несмотря на то что идея массовых движений, вызванная интегрированием «дифференциалов истории» — «однородных влечений людей», обнаруживала явные точки соприкосновения с историческим материализмом, наиболее авторитетные марксистские авторы не оценили эту идею — и были по-своему правы.

Исторические идеи Толстого были так же несовместимы с марксизмом, как и с его источником — гегелианством. Одной из главных идей, воспринятых Марксом от Гегеля, была идея исторического прогресса — идея эта была совершенно неприемлема для Толстого. Уже в статье «Прогресс и определение образования», опубликованной в 1862 г., Толстой отвергал «умственный фокус» Гегеля, выразившийся в «знаменитом афоризме»: «Что исторично, то разумно» (8, 326). Нет никаких оснований сомневаться в том, что это же отрицательное отношение к гегелевскому

<sup>1</sup> Farrell J. T. *Literature and Morality*. N. Y., 1945. P. 214—230; ср. P. V.

<sup>2</sup> История русского романа: В 2 т. М.; Л., 1964. Т. II. С. 300—301.

<sup>3</sup> Сабуров А. А. «Война и мир» Толстого. С. 277.

оправданию «историчности» (прогресса исторической действительности) сохранилось у Толстого и во время написания «Войны и мира», и впоследствии.

Совершенно неправ поэтому Э. Б. Гринвуд, когда противопоставляет отрицание гегелианства в толстовской статье 1862 г. взглядам, содержащимся в «Войне и мире». Вслед за Б. Эйхенбаумом Б. Гринвуд (как и другие авторы) не усматривает в исторических рассуждениях романа ничего, кроме «урусовщины» — идеи приятеля Толстого С. С. Урусова, мечтавшего объяснить историю с помощью математики.<sup>1</sup> Урусов действительно с сочувствием воспринимал взгляды Толстого, высказывавшиеся писателем во время работы над «Войной и миром», но собственные представления Урусова о Наполеоне — как «чародее», «который неизвестно какой силой делал из людей то, что хотел»,<sup>2</sup> — были очень далеки от толстовских, и Толстой вовсе не принимал их. Приведенное Э. Гринвудом весьма простое и ясное рассуждение Толстого в «Войне и мире» о том, что если четыре партизана могут победить пятнадцать солдат регулярной армии, то, следовательно, количество атакующих в партизанской войне не имеет такого значения, как в обычных условиях (12, 122—123), не включает в себе никакой «урусовщины» и никакого отказа от взглядов на исторический прогресс, высказанных в 1862 г.

Отказ от веры в прогресс — одна из характернейших черт философии истории в «Войне и мире». Именно за непризнание «содержания исторического движения» осуждал роман Толстого Н. Кареев: «История, лишенная своего реального смысла, не могла у гр. Толстого получить и смысла идеального в понятии той цели, которую она должна осуществлять... Процесс без внутреннего содержания, без цели, достижения коей мы могли бы от него добиваться, сами участвуя в этом процессе... — вот что есть история, по представлению гр. Толстого», — писал Кареев.<sup>3</sup>

Понимание независимости и несводимости воедино исторического движения и требований «идеальной цели» делали в глазах Толстого бессмысленным исторический утопизм, любые планы рационального устройства человечества. Отсюда его решительная борьба с «суверием устройства» в годы после написания «Войны и мира».

На эту сторону мировоззрения Толстого в наше время справедливо обратили внимание люди, разочаровавшиеся в навязываемой им в течение семи десятилетий идее «строительства новой жизни». Этой теме посвятил свою книгу «Как свеча от свечи» И. Константиновский. Представление, будто «одни люди, составив себе план о том, как, по их мнению, желательно и должно быть устроено общество, имеют право и возможность устраивать по этому плану жизнь людей», Толстой отвергал как заблужде-

---

<sup>1</sup> Greenwood E. B. Tolstoy: The Comprehensive Vision. N. Y., 1975. P. 60—61. Ср.: Sampson R. V. The Discovery of Peace. P. 117—118, 122; Morson G. S. Hidden in the Plain View. P. 291.

<sup>2</sup> Урусов С. С. Обзор кампаний 1812 и 1813 гг., военно-математические задачи и о железных дорогах. М., 1868. С. 23.

<sup>3</sup> Кареев Н. Историческая философия гр. Л. Н. Толстого в «Войне и мире». СПб., 1888. С. 13, 63.

ние: «Почему ты знаешь, что то, что ты делаешь, произведет ожидаемые тобою последствия, тогда как ты не можешь не знать, что последствия, особенно в делах, касающихся жизни народов, бывают часто противоположны той цели, для которой они сделаны» (36, 368). «Почему вы думаете, что люди, которые составят новое правительство... не найдут средств точно так же, как и теперь, захватить львиную долю, оставив людям темным, смиренным только необходимое?..» — спрашивал Толстой в статье «К рабочему народу» (35, 149—150). Приведя эти слова, И. Константиновский с полным основанием отметил их пророческий смысл, подтвержденный нашей историей. Но он не обратил внимания на то, чем именно объяснял Толстой неизбежную причину неудачи плана переустройства общества. Толстой объяснял ее не тем, что представители «нового правительства» окажутся негодными, злодеями, отвергающими нравственные заповеди. Нет, они будут обычными людьми, стремящимися «к личному благу» и преследующими «личные выгоды» (50, 137).<sup>1</sup>

Илья Константиновский, не заметил, однако, что Толстой не только решительно расходился с идеологией, которую сам Константиновский в юности исповедовал, но и сходил с ней в одном весьма существенном положении. Устроить новую жизнь оказалось невозможным именно потому, что, как и предвидел Толстой, для извращения справедливого устройства нашлись «тысячи способов у людей, руководствующихся только заботой о своем личном благосостоянии», ибо «нет тверже убеждений тех, которые основаны на выгоде» (35, 150). «Историческое бытие определяет историческое сознание», — эти слова, которые бездумно учились наизусть, ныне столь же бездумно отвергаются как вульгарные и «бездуховные». Но так ли уж они несправедливы — если, конечно, под общественным сознанием понимать не индивидуальное, а массовое сознание, интегрирующее «однородные влечения» людей?

Конечно, философия истории Толстого была совершенно иной, чем философия истории Маркса. Толстой отверг бы, без сомнения, последний из «Тезисов о Фейербахе»: «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его».<sup>2</sup> Толстой был убежден, что один человек или группа людей не способны изменить мир.

### Вопрос о необходимости и свободе

Противоречие, которое усматривали многие авторы между толстовской идеей исторической необходимости и его моральными воззрениями, — отнюдь не логическое противоречие в рассужде-

<sup>1</sup> Константиновский Илья. Как свеча от свечи... Опыт биографии мысли. М., 1990. С. 109—110, 116, 216—217.

<sup>2</sup> Маркс К., Энгельс Ф. Соч. М., 1955. Т. 3. С. 4.

ниях писателя. Это противоречие существует объективно — и с ним сталкивается любой исторический мыслитель. Толстой сам — лучше всех своих критиков — замечал его. «Если бы история имела дело до внешних явлений», писал он, то «мы бы кончили наше рассуждение» признанием «простого и очевидного закона» — «общего закона необходимости». «Но закон истории относится до человека», а человек не может признать свою волю несвободной и отказаться от какой бы то ни было деятельности: «Вы говорите: я не свободен. А я поднял и опустил руку. Всякий понимает, что этот нелогический ответ есть неопровержимое доказательство свободы» (12, 322—324).

Воззрения Толстого на соотношение исторической необходимости и свободы казались большинству его критиков непонятными и противоречивыми. О том, что Толстой так и не разрешил «ужасную дилемму» между «всеобщей и насущно важной, но иллюзорной свободой воли» и «историческим детерминизмом», писал И. Берлин.<sup>1</sup> Дж. Морсон считал, что для Толстого свобода остается лишь видимостью («only apparent»), и детерминизм неприменим к «человеческой жизни в историографической практике».<sup>2</sup> По мнению Н. Розена, Толстой «развенчивает свободу воли как необходимую иллюзию».<sup>3</sup>

М. Лазерсон, Дж. Ралей и Э. Веселек<sup>4</sup> обратили внимание на то, что, согласно Толстому, ощущение свободы присуще человеческому сознанию в момент совершения действия: «Сознание того, что я емь свободен, есть сознание, которое не может быть ни доказано, ни опровергнуто разумом, но сознание того, что я был свободен, есть понятие и потому принадлежит разуму... Я свободен в момент настоящего...» (15, 290). М. Лазерсон отметил любопытную параллель между этим высказыванием Толстого и утверждением К. Каутского (основанным на философии Канта), что ощущение свободы присуще лишь действиям, совершающимся в настоящее время и относящимся к будущему, но нашел эту мысль «в высшей степени пустой и безнадежной».<sup>5</sup>

Если в признании «предустановленности» и неотвратимости исторического процесса Толстой сходиллся с Гегелем, то в решении вопроса о деятельности индивидуального человека он следовал Канту и Шопенгауэру. «Доказав необратимо с точки зрения разума закон причинности или необходимости, Кант по тому же пути разума приходит к признанию *Intelligibile Wille* (сознательной воли. — Я. Л.), который, в противоположность воле чув-

<sup>1</sup> *Berlin I.* 1) *Lev Tolstoy's Historical Scepticism*. P. 33—34; 2) *The Hedgehog and the Fox*. P. 49—50.

<sup>2</sup> *Morson G. S. Hidden in Plain View*. P. 92.

<sup>3</sup> *Rosen N. Notes on War and Peace*. P. 113.

<sup>4</sup> *Лазерсон М.* Философия истории «Войны и мира». С. 162—167; *Raleigh J. H. Tolstoy and the Ways of History*. P. 211, 214, 216—224; *Wasiolek E. Tolstoy's Major Fiction*. P. 124—125.

<sup>5</sup> *Каутский К.* Этика и материалистическое понимание истории. М., 1922. С. 36—39. Ср.: *Лазерсон М.* Философия истории «Войны и мира». С. 166.

ственной, не подлежит закону причинности и может существовать наряду с общим законом необходимости...» — писал Толстой в одном из вариантов «Войны и мира». Он ссылаясь и на Шопенгауэра, который, «победоносно доказав... закон необходимости, опять и опять возвращается к простому человеку, „который все-таки скажет: а я все-таки могу сделать все, что хочу“» (15, 245—246).

Вопрос о свободе воли Толстой решал на основе того же самого исторического «атомизма», о котором мы уже упоминали. «Матерьялисты говорят, что человек имеет нуль свободы; я говорю, что он имеет бесконечно малую свободы» — писал он (15, 321).<sup>1</sup> Отнюдь не противопоставляя историческую науку другим наукам, в том числе и естественным, Толстой считал, что и она должна основываться на отыскании свойств, общих всем неизвестным, бесконечно малым элементам — «отыскивать законы, общие всем равным и неразрывно связанным между собой бесконечно малым элементам свободы» (12, 339).

Если интегрирование «дифференциалов истории» определяет историческую необходимость, то каждый из этих «дифференциалов истории» есть «бесконечно малый элемент свободы». Когда человек удовлетворяет свою потребность есть, пить, спать, разговаривать, то он поступает так по собственной сознательной воле: он ощущает себя свободным. Так же свободен он и при решении других — моральных вопросов. Как справедливо заметил Э. Веселек, согласно Толстому, «человек не может „свободно“ двигать историю, но может свободно двигаться в истории, отвечая на конкретные события, перед лицом которых он оказывается».<sup>2</sup>

Так разрешается и то противоречие, которое увидел в рассуждениях Толстого Р. Сэмпсон и другие критики. Наполеон не «делал» историю, он только воображал, что он ее делает, подобно «ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит» (12, 92). Но исполняя «ту жестокую, печальную и тяжелую, нечеловеческую роль, которая была ему предназначена», он ощущал себя свободным, действо-

---

<sup>1</sup> Представление о «бесконечно малых элементах свободы» было связано у Толстого с его религиозными исканиями — в ранних вариантах Эпилога, где вводилось это понятие, Толстой писал, что «бесконечно малый момент свободы во времени есть душа в жизни», а «бесконечно великая сумма моментов времени есть сущность свободы, вне времени есть Божество» (15, 321; ср. 15, 239—240). Р. Густафсон, обративший внимание на эти слова, пришел к мнению, что «неопределенность эпилога происходит от неспособности Толстого в то время выразить свою доктрину Бога, как некую идею» (*Gustafson R. F. Leo Tolstoy: Resident and Stranger. Princeton, 1986. P. 224*). Н. Розен заметил в связи с этим, что и «после того как Густафсон развил доктрину Бога, читатель в не меньшей степени остается в недоумении от взглядов Толстого на свободу и детерминизм» (*Rosen N. Notes on War and Peace. P. 111*). Следует иметь в виду, что в окончательном тексте Эпилога приведенные рассуждения были Толстым исключены.

<sup>2</sup> *Wasiolok E. Tolstoy's Major Fiction. P. 123.*

вал по своей воле и, следовательно, «принимал на себя всю ответственность события» (11, 257—260). Такую же нравственную ответственность нес и Растопчин, отдавший Верещагина на растерзание толпе (11, 345—348).

Моральный выбор, стоящий перед каждым, основывается на общечеловеческих нравственных законах, и прежде всего на принципе, к которому Толстой возвращался не раз: «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы тебе делали» (34, 257). Эта общечеловеческая нравственность не подчиняется никакому закону исторического движения, никаким задачам устройства общества. История движется не отдельными людьми с их доктринами, а совокупностью «бесконечно малых единиц» — «однородных влечений людей». По складу своего ума Толстой был рационалистом, но он категорически отрицал, что история движется по чьим-либо рациональным планам. Историческое движение так же неотвратимо, как движение пчелиного роя, как природные явления. Историческое движение и нравственные принципы для Толстого — как бы параллельные линии, и едва ли возможно сдвинуть какую-либо из них по направлению к другой.

Вопрос об исторической необходимости и нравственной ответственности политических деятелей принадлежит к числу важнейших этических проблем истории — он отнюдь не утратил актуальности сейчас, более чем через столетие после написания романа. Никто из злодеев XX в. — ни Гитлер, ни Сталин, ни кто-либо иной — не «делает истории»; она двигалась иными, более могущественными силами, но они издавали преступные приказы и несут полную нравственную ответственность за это.<sup>1</sup>

В чем же проявляется свобода воли отдельного человека? Очевидно, вне истории. «Только Ньютон, Сократ, Гомер действует сознательно и независимо...» — написал Толстой в одном из вариантов романа (14, 60). «Сознательно и независимо» — потому, что они занимались своим собственным делом, а не делали историю. Делать же историю невозможно. Можно броситься вперед со знаменем, как это делает князь Андрей под Аустерлицем, но это не изменяет исхода войны. Можно попытаться убить тирана — Пьер постигает бессмысленность этого замысла, когда остается в осажденной Москве: убивает людей не Наполеон, не Даву, а некий неотвратимый порядок событий. Но и Даву, и Наполеон в какой-то момент могли отказаться от своей «печальной, нечеловеческой роли».

### «Дух армии и народа» — Толстой и К. Поппер

Чуждые Толстому идеи активного вмешательства идеологов в исторический процесс были главным предметом критики философа, выступившего против любых версий «историцизма» (исто-

<sup>1</sup> Ср.: *Клямкин И.* Какая улица ведет к храму? // *Новый мир.* 1987. № 11. С. 150—188.

рического детерминизма), — К. Поппера. Характерно в связи с этим, что к «историцизму» Толстого К. Поппер отнесся более сочувственно, чем к «историцизму» других мыслителей, и воспринял его без обычного у других критиков пренебрежения к историческим взглядам писателя. Соглашаясь с тем, что стремление «историцизма» реформировать историческую науку не лишено значения, К. Поппер писал: «Никто, например, кто читал рассуждения в «Войне и мире» Толстого — несомненного историциста, но излагающего свои взгляды откровенно, — о движении людей Запада на Восток и обратном движении русских на Запад — не может отрицать, что историцизм отвечает реальной необходимости. Историцизм Толстого — реакция против такого метода писания истории, который внутренне принимает справедливость принципа вождизма, метода, который приписывает много — как справедливо указывает Толстой, слишком много — великому человеку, вождю. Толстой пытается показать, успешно, по моему мнению, малое влияние действий и решений Наполеона, Александра, Кутузова и других великих деятелей 1812 г. перед лицом того, что может быть названо логикой событий. . . Этот пример может напомнить нам, что в историцизме имеются некоторые здоровые элементы; это реакция против наивного метода интерпретации политической истории как простой истории великих тиранов и великих полководцев. . .» Эти наблюдения, по мнению К. Поппера, указывают на необходимость более детального анализа «логичи ситуаций»: «Лучшие из историков прибегали, более или менее бессознательно, к этой концепции: Толстой, например, когда он описывает, как не сознательное решение, а необходимость заставили русскую армию отдать Москву без боя и отступить в места, где они могли найти пищу».

Но склонность Толстого усматривать «какую-либо форму исторической необходимости в этих событиях», его идея «духа времени, народа, армии», решительно отвергались К. Поппером: «. . . у меня нет ни малейшей симпатии к этим „духам“ — ни в их идеалистическом прообразе, ни в их диалектическом и материалистическом воплощении».<sup>1</sup>

Что же означал «дух армии», «дух народа» в системе понятий «Войны и мира»? Понятие это, возможно, находилось в какой-то связи с идеями славянофильства, оказавшими влияние на Толстого. О «духе войска», «духе армии» Толстой писал, повествуя о Бородинском сражении; он даже утверждал, что приказ Кутузова о продолжении сражения после первого дня исходил «из чувства, которое лежало в душе главнокомандующего так же, как и в душе каждого русского человека» (II, 248). Но далее в третьей части третьего тома Толстой показывал, как Кутузов понял невозможность дальнейшей защиты Москвы и спрашивал себя: «Неужели я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал? Когда это решилось?» Решающим фактором в этом

<sup>1</sup> Popper K. R. The Poverty of Historicism. London, 1961. P. 148—150.

случае оказывалась «сила вещей» — «логика ситуации», по формулировке К. Пошпера: «Нельзя было дать сражения, когда еще не собраны были сведения, не убраны раненые... не наелись и не выспались люди» (11, 267—270). И именно в этой части книги Толстым была сформулирована мысль о «дифференциалах истории» как основе исторического процесса. Конкретный смысл этих «дифференциалов» наиболее ясно обнаруживается в рассуждении о французской армии, стремившейся войти в Москву, чтобы найти «пищу и отдых победителей», и остававшейся войском «только до той минуты, пока солдаты этого войска не разошлись по квартирам», — «голодное войско вошло в обильный пустой город» (11, 353—354). Аналогичными были, очевидно, и «дифференциалы истории», которые предопределяли действия русских. Важнейшее значение, по представлениям Толстого, имело здесь то обстоятельство, что война в 1805—1807 гг. велась за пределами России, а в 1812 г. — на русской земле. Правда, и в 1812 г., как показывает Толстой, настроения народа определились не сразу и не однозначно: когда княжна Марья предложила крестьянам покинуть занимаемое неприятелем село Богучарово и перейти в подмосковное имение, они ответили отказом: «Вишь научила ловко, за ней в крепость пооди! Дома разори, да в кабалу и ступай...» (11, 153—154). Но по мере продвижения французов к Москве и после ее взятия складывается единая «цель народа» — «освободить свою землю от нашествия» (12, 170). Характеризуя это стремление как «скрытую... теплоту патриотизма» (11, 208), Толстой, однако, подчеркивал, что носители его «вообще не высказывали лично геройских чувств» (12, 119) — «побуждения людей, стремящихся со всех сторон в Москву после ее очищения от врага, были самые разнообразные, личные и в первое время большей частью — дикие животные» (12, 211). Весьма выразительно объяснение, даваемое своим действиям одним из самых жестоких партизан, Тихоном Щербатым: «Мы французам худого не делаем... *Миродеров* точно десятка два побили...» (12, 132).

Толстовский «дух народа» не соответствовал традиционным славянофильским представлениям: скорее под ним следовало понимать то «интегрирование» «бесконечно малых элементов свободы», которое определяло, по мнению писателя, законы истории. Именно поэтому Н. Страхов, при всей его близости к Толстому, был глубоко разочарован историческими главами «Войны и мира»: «Читатель, следя за философскими мыслями автора, все ждет, что автор приложит свои общие соображения к главному своему предмету, к борьбе России с Европой... Если бы художник закончил свою книгу философскими или какими угодно мыслями, из которых нам стал бы яснее смысл Бородинского сражения, сила русского народа, тот идеал, который нас тогда спас и живет до сих пор, — мы были бы довольны».<sup>1</sup>

<sup>1</sup> *Страхов Н.* «Война и мир». Сочинение гр. Л. Н. Толстого // *Заря*, 1870. Январь. С. 129—130; ср.: *Страхов Н. Н.* Литературная критика. М., 1984. С. 342.

Во время написания «Войны и мира» изменилось не только отношение Толстого к «государственному устройству». Понятие государства, да еще и при монархическом правлении, неразрывно связано с понятием отечества — ведь и самая война, о которой был написан роман, именовалась в России Отечественной. Если сразу же после выхода романа наиболее консервативные современники Отечественной войны — такие как П. А. Вяземский, А. Норов, М. Богданович — усмотрели в «Войне и мире» «протест против 1812 года», «отрицание событий минувшего»,<sup>1</sup> то последующие поколения, как уже было отмечено, видели в этой книге прежде всего патриотическую эпопею.

Действительно, в «Войне и мире» читаются знаменитые слова о «дубине народной войны»; во время разговора с князем Андреем Пьер понимает «ту скрытую (latente), как говорится в физике, теплоту патриотизма, которая была во всех тех людях, которых он видел...» Но в той же сцене князь Андрей говорит, что «цель войны — убийство, орудия войны — шпионство, измена и поощрение ее... нравы военного сословия — отсутствие свободы, т. е. дисциплина, праздность, невежество, жестокость, разврат, пьянство» (11, 208, 209). Слушая синодальную молитву о спасении России от вражеского нашествия, Наташа испытывает благоговение, но она не может «молиться о погрании под ноги врагов своих, когда она за несколько минут перед этим только желала иметь их больше, чтобы любить их, молиться за них» (11, 76). А описывая Бородинское сражение, Толстой, не делая различия между французами и русскими, писал, что «измученным, без пищи и отдыха, людям той и другой стороны начинало одинаково приходиться сомнение в том, следует ли еще истреблять друг друга... Люди чувствовали весь ужас своего поступка...» (11, 261).

Страхование недаром выражал недовольство тем, что Толстой не показал «силу русского народа» и идеал, который спас Россию в 1812 г. и «живит до сих пор». Уже вскоре после написания «Войны и мира» противоречия между Толстым и его прежними друзьями-славянофилами стали особенно заметны. Наиболее ясно обнаружили эти противоречия во время Балканской войны. Как известно, последняя, восьмая часть «Анны Карениной» была отвергнута в 1877 г. М. Н. Катковым и печаталась вне «Русского вестника» именно из-за высказанного в романе отрицательного отношения к подготовлявшейся войне, ибо она «такое животное, жестокое и ужасное дело, что ни один человек, не говоря уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны» (12, 387).

---

<sup>1</sup> М. Б. Что такое «Война и мир» графа Л. Н. Толстого? С. 2; Вяземский П. Воспоминания о 1812 году // Русский архив. 1869. Вып. 1. С. 186.

За это же мнение осудил Толстого и Достоевский. В течение нескольких лет он призывал в «Дневнике писателя» к вступлению России в войну, настаивая на том, что «Константинополь, рано ли, поздно ли, но должен быть наш». Исходил он при этом, как и Толстой, из общих философско-исторических воззрений. В очерке «Утопическое понимание истории» Достоевский объяснял, что уже «допетровская Россия... понимала, что несет внутри себя драгоценность, которой нет нигде больше, — православие, что она носительница... настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и всех других народах»; после Петра «произошло расширение древней нашей идеи».<sup>1</sup> Иностранцы, не понимающие всеобщего стремления русских к войне с турками, «проглядели... союз царя с народом своим». Толстой, в отличие от Достоевского, сомневался в том, что движение в защиту угнетенных славян действительно отражало волю народа. В «Анне Карениной» Левин спорит с приезжими гостями, полагающими, что вступление в войну отражает «волю граждан»: «...мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают все, чтобы послужить правому делу...» Но Левин полагает, что таким же образом множество людей может соединиться «в шайку Пугачева», что «если общественное мнение есть непогрешимый судья, то почему революция, коммуна не так же законны, как и движение в пользу славян?» (19, 387—392). Перед нами, как видим, тот же вопрос, который уже ставился в «Войне и мире»: «если власть есть перенесенная на правителя совокупность воль масс», то почему ее представителем должен считаться легитимный государь, а не Пугачев? Достоевский не задавался этим вопросом. «Природа всеединящегося духа русского» представлялась ему ясной и однозначной, и если «милосердным сердцем своим царь-освободитель заодно с народом своим», то «сравнение с шайкой Пугачева, с коммуной и проч.» не могло ни с какой стороны быть применено «к его благородному и кроткому движению».<sup>2</sup>

Не казались Достоевскому убедительными и соображения о жестокости и ужасах войны: «...мудрецы наши схватились за другую сторону дела: они проповедуют о человеколюбии, о гуманности, они скорбят о пролитой крови... Довольно уже нам этих буржуазных нравучений!.. Что святее и чище подвига той войны, которую предпринимает теперь Россия?..». А в очерке «Спасает ли пролитая кровь?» автор «Дневника писателя» решительно отвергал «казенные фразы о крови», доказывая, что, «напротив, скорее мир, долгий мир зверит и ожесточает человека, а не война».<sup>3</sup> Явно имея в виду эти рассуждения, Толстой писал в начале 1878 г. Страхову, что готов принять разделяемое всеми «предание», но «когда мне предание... говорит: будем все молиться, чтобы побить больше турок... — я говорю: это предание ложное» (62, 382).

<sup>1</sup> Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Л., 1982. Т. 23. С. 46—49.

<sup>2</sup> Там же. 1983. Т. 25. С. 217.

<sup>3</sup> Там же. С. 98, 101.

Толстой не любил полемики и не стал прямо возражать Достоевскому. Но был еще один голос в этом споре — голос младшего современника обоих писателей, Всеволода Гаршина. Гаршин пошел добровольцем на ту самую войну, к которой призывал Достоевский. А спустя год в «Отечественный записках» появился его рассказ «Четыре дня», основанный на реальных событиях войны. Это рассказ о русском солдате-добровольце, заколовшем в бою турка, почти сразу после этого раненом и оставшемся на поле боя.

«Передо мной лежит убитый мною человек. За что я его убил? Он лежит здесь мертвый, окровавленный. Зачем судьба пригнала его сюда? Кто он? Быть может, у него, как и у меня, есть старая мать... Штык вошел ему прямо в сердце... Вот на мундире большая черная дыра; вокруг нее кровь. Это сделал я.

Я не хотел этого. Я не хотел зла никому, когда шел драться. Мысль о том, что и мне придется убивать людей, как-то уходила от меня».<sup>1</sup>

Достоевский, вероятно, читал этот рассказ, но никак не реагировал на него. Но Толстого размышления над событиями Балканской войны привели к полному разрыву со славянофильскими идеями. «Одно из двух: славянофильство или евангелие», — написал он Страхову (51, 61—62).

### Отношение к государству и власти

В 1866 г., когда Толстой писал вторую половину романа, посвященную войне 1812 г., произошел случай, сыгравший важнейшую роль в развитии мировоззрения писателя. В июне этого года Толстому сообщили, что по приказу Александра II был отдан под военно-полевой суд рядовой Василий Шабунин, ударивший своего командира. Шабунину грозила смертная казнь. Толстой выступил на суде защитником Шабунина, а после приговора ходатайствовал перед царем о помиловании осужденного. Ходатайство не возымело действия — в августе 1866 г. Шабунин был казнен. «Случай этот имел на всю мою жизнь гораздо больше влияния, чем все кажущиеся более важными события жизни: потеря или поправление состояния, успехи или неудачи в литературе, даже потеря близких людей... На этом случае я в первый раз почувствовал, первое — что каждое насилие предполагает убийство или угрозу его... Второе — то, что государственное устройство, немислимое без убийства, несовместимо с христианством», — писал Толстой впоследствии П. Бирюкову (37, 67 и 75), тому самому человеку, которому он сообщил о двух моментах жизни, определивших его отношение к власти и государству: написание «Войны и мира» и казнь народовольцев. Учтем, что в 1881 г. Толстой вновь повторил попытку спасти людей от смерт-

<sup>1</sup> Гаршин В. Сочинения. М., 1955. С. 7.

пой казни — и вновь, как и в 1866 г., попытка эта оказалась безуспешной.

Но еще до 1881 г. Толстой начал писать сочинение, в котором развил сложившуюся у него после «Войны и мира» идею несовместимости государственной власти с общечеловеческой нравственностью, — «Исповедь». Там он вновь вспомнил Балканскую войну 1876—1878 гг., как одно из событий, приведших к тому, что он осознал безнравственность идеи национального и конфессионального превосходства своего народа и государства: «В то время случилась война в России. И русские во имя христианской любви стали убивать своих братьев. Не думать об этом нельзя было. Не видеть, что убийство есть зло, противное самым первым основам всякой веры, нельзя было. А вместе с тем в церквях молились за успехи нашего оружия, и учителя веры признавали это убийство делом, вытекающим из веры» (23, 56).

Все то, что Толстой писал впоследствии, в особенности после 1879 г., когда была создана его «Исповедь», было в сущности последовательным развитием идеи несовместимости любой государственной власти с общечеловеческими нравственными законами. Если Достоевский считал Россию носительницей «настоящего Христова образа, затемнившегося во всех других верах и всех других народах», то Толстой в «Исповеди» заявлял, что представление о превосходстве своего народа и своей веры не имеет никакого обоснования, «кроме того же самого, по которому сумские гусары считают, что первый полк в мире Сумский гусарский, а желтые уланы считают, что первый полк в мире — это желтые уланы» (23, 54).

Свидетельствовали ли выступления Толстого после «Исповеди» против любого государственного устройства и каких бы то ни было войн об его отказе от взглядов, высказанных в «Войне и мире», — о причинной обусловленности исторического движения, включавшего в себя войны? Так казалось, например, Р. Сэмпсону.<sup>1</sup> Но это не справедливо. И в 90-х годах, и позже Толстой не раз заявлял о неизменности своих воззрений, высказанных в «Войне и мире» (65, 4),<sup>2</sup> и об убеждении, что «правители государства делают только то, что им велит делать предание и окружающие, и участвуют в общем движении» (51, 54).

Протест против «государственного устройства, невысказанного без убийства», патриотического движения и войн, основывался у Толстого на последовательно проведенных нравственных идеях. Идеи эти, выработанные людьми за многие века их истории, не могут быть подчинены каким-либо политическим или национальным целям. В отличие от Достоевского, Толстой был чужд «утопического понимания истории». Массовые движения, такие как

<sup>1</sup> *Sampson R. V. The Discovery of Peace. P. 121.*

<sup>2</sup> *Русанов Г. А., Русанов А. Г. Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом (1893—1901 гг.). Воронеж, 1972. С. 30—31; Maude Ailmer. The Life of Tolstoy. Oxford, 1930. V. 1. P. 422.*

движение народов Запада на Восток или ответное движение на Запад, определялись, по его мнению, интегрированием множества индивидуальных стремлений и не подчинялись воле одного лица — правителя и идеолога. Но нравственность остается нравственностью — и человекоубийство не может быть «святым и чистым».

Отвергая всякое целеполагание в истории, Толстой, однако, не мог не думать о том, что способен сделать человек, вовлеченный в исторический процесс. Он признавал свободу собственного выбора человека в истории. В «Войне и мире» Платон Каратаев утешает своих товарищей по плену; Пьер спасает ребенка в горящей Москве. Так же поступает в позднем рассказе Толстого «Ходынка» его герой Емельян: рвавшийся прежде вместе со всеми вперед к гостинцам, он выходит из общего движения, спасая мальчика, попавшего под ноги толпе, и лишившуюся сознания женщину.

Последнее десятилетие жизни Толстого особенно остро поставило перед ним вопрос о том, что может и должен делать человек перед лицом истории.

## II. ТОЛСТОЙ В XX ВЕКЕ

«. . . Так знали мы все: не убежать. Но каждый сумасшедшим взглядом не отрывался от тайги — ведь вот она, воля, тут, рядом. . . В тюрьме хоть решетки, стены высокие, явственнее грань между неволей и миром вольным, а тут ни стен, ни решеток, и все же мы в плену — плену двойном: конвоя и своих же по десятку. . . Дождь ли, жара ли — все равно: работа продолжается. Одно лето жара достигала 40 градусов, все-таки работали, хотя ежедневно привозили на тачке двух-трех свалившихся от солнечного удара. Однажды фельдшер не поверил, решил, что арестант притворяется, и стал колоть иголками: проверить хотел.

Доктора нет: по положению таковой числится, но от нас за тридевять земель. При нас помощники его: два фельдшера. Один из них порядочный человек, даже порой явные поблажки дает, но неизменно пьян. Другой трезв, как квакер, но подл. . . Политических он ненавидел, уголовных под шумок уговаривал бить „политику“, больных политических он не признавал: по его мнению, „политики“ притворялись и, кто бы ни являлся к нему, он неизменно отвечал:

— Здоров.

В приемной одной и той же кисточкой смазывал сифилитические язвы и простые нарывы: это он, не поверив в солнечный удар, колот арестанта иголками. . .

А конвойные — конвойные били арестантов: били днем, утром, ночью, били за то, что ты еврей, били за очки. . .

Били ночью за громкий разговор в палатке, за просьбу разрешить выйти „до ветру“. . .

Бредешь к параше, а не успел подойти, летишь лицом книзу: получил прикладом по затылку — оказывается, что конвой забавляется.

— Иди, — кричит не передний конвойный, разрешение которого требуется, а боковой, передний бьет.

Как-то в октябре (уже поутру поляна приморозью белела) старикашка один вышел из палатки, попросился, а конвой не пускает:

— Попляши, — говорит. — А то не пущу.

Старикашка шмыгнул носом и стал плясать. . .

Политического Гуткина конвоир избил до потери сознания за отказ продать подушку за 20 копеек. . .

В какой-то двенадцатый праздник, когда работу отменили, конвойные, заскучав, поймали собаку (пристала она к возчикам привианта) и забавы ради переломили ей лапы, а когда она завизжала, выкопали яму и зарыли ее живой. Потом плясали. играли на гармошке и пели: „Акулина-мать собиралась умирать. . .“

И как жестоко мы ненавидели их! Для каждого из нас любой конвоир был диким зверем, которого не только не грешно убить, но даже должно.

Вот помню товарища одного, который кашеварил на солдатской кухне, неделями долгими он мечтал:

— Где бы мышьяку раздобыть! Голубчики, надо все усилия приложить и мышьяку достать. Как щип готовы будут, всыпать в котел, они все и подохнут, а мы бежать.

Взрослый человек, не мальчик, бывалый человек, а носился с этой сумасшедшей мечтой, и знаю я: если б достал — ни на одну минуту не задумался, с величайшим наслаждением всыпал бы им мышьяку. . .»

Это не из «Архипелага Гулага» и не из рассказов Шаламова. Это из книги Андрея Соболя, эсера, пережившего Октябрьскую революцию и покончившего самоубийством в 1926 г. А описывается здесь каторга, которую Соболев отбывал после 1906 г. на Амурской «колесухе», шоссейной дороге, соединившей Хабаровск с Благовещенском.<sup>1</sup>

Восприятие истории первых десятилетий XX века сильно изменилось за последние годы.

Мы знали раньше, что царствование Николая II началось с катастрофы на коронационных торжествах в Москве, когда глупая и фарисейская затея — раздача бесплатных гостинцев толпам народа — привела к гибели людей, проломивших построенные на авось мостки на Ходынском поле. Именно этому событию был посвящен рассказ Толстого. Мы помнили о расстреле 9 января 1905 года в Петербурге мирной манифестации, стремившейся только сообщить царю о своих нуждах. Мы читали о восставшем броненосце «Потемкин», прошедшем сквозь строй военных кораблей, экипажи которых не стали по нему стрелять, о лейтенанте Шмидте, согласившемся на просьбу матросов возглавить восстание на не имевшем брони и, следовательно, обреченном крейсере «Очаков». Мы знали, наконец, что всеобщая забастовка и массовые выступления по всей стране вынудили царя согласиться 17 октября 1905 г. на важные уступки освободительному движению.

Знания эти не были особенно глубокими у большинства людей, не занимающихся специально историей начала XX века. Самостоятельные размышления над историей революции 1905 г.

---

<sup>1</sup> Соболев А. Записки каторжанина. М.; Л., [1925]. С. 69—75.

вызывали множество вопросов. Какая именно из борющихся с самодержавием партий занимала наиболее верную и ведущую к успеху позицию? Следовало ли продолжать борьбу после манифеста 17 октября? Не было ли ошибкой декабрьское восстание в Москве, обреченное на неудачу и приведшее к усилению реакции?

Однако внимание большинства авторов, обращающихся к истории начала века, за последние годы было перенесено с 1905-го на последующие годы. 1907—1913 годы перестали теперь казаться временем реакции, а напротив, были признаны годами наибольшего благополучия России, своего рода «светлым раем», утраченным в 1917 г. В 1945 г. в Бутырской тюрьме Александр Солженицын услышал от своих сокамерников речь лейтенанта Шмидта судьям в переложении Пастернака:

Я тридцать лет вынашивал  
Любовь к родному краю  
И свисхожденья вашего  
Не жду и не желаю,

и речь эта «проняла» его, ибо «так подходила к нам».<sup>1</sup> Ныне Солженицын вспоминает о Шмидте (в главке о Колчаке в «Красном колесе») как о плохом офицере, который «служил нехоти, спал в дневное время, небрежен в одежде», а по слухам, даже пытался после восстания «бежать в наемном ялике».<sup>2</sup>

Зато в честь последнего монарха устраиваются музейные выставки, украшенные императорским штандартом, и их устроители не затрудняются экспонировать тут изображение торжеств на Ходынском поле, даже не подозревая или не желая думать о тех ассоциациях, которые эта гравюра вызывает.

Как же воспринимал события тех лет Лев Толстой?

### Толстой и революция 1905 года

После 1881 г., как писал Толстой Бирюкову, его «отрицательное отношение к государству и власти», возникшее при писании «Войны и мира», сложилось окончательно.

Цареубийство 1 марта 1881 г. Лев Толстой решительно осудил, но казнь революционеров, которую одобряли его прежние друзья, казалась ему также несовместимой с христианским учением. Через два месяца после 1 марта Толстой записал в дневнике: «Самарин с улыбочкой: надо их вешать. Хотел смолчать и не знать его, хотел вытолкать в шею. Высказал. Государств. „Да мне все равно, в какие игрушки вы играете, только бы из-за игры зла не было“» (43, 36). Смысл разговора ясен: в оправда-

<sup>1</sup> Солженицын А. Архипелаг ГУлаг. УМСА-PRESS, 1973. Т. I—II. Р. 226.

<sup>2</sup> Солженицын Александр. Собр. соч. Вермонт; Париж, 1991. Т. XX: Красное колесо. Узел IV. С. 229.

ние казни первомартовцев П. Ф. Самарин ссылается на интересы государства: Лев Толстой отвергал их, как „игрушки“, из-за которых совершается величайшее зло — убийство. Толстой обратился с письмом к Александру III, объясняя, что осужденные — не «бандиты», не «шайка», а «люди, которые ненавидят существующий порядок вещей», и что с ними надо «бороться духовно». Он просил помиловать осужденных (68, 51—52). Ходатайство это, как мы знаем, последствий не имело. Так же безуспешны были обращения Толстого к Николаю II с призывом согласиться на реформы государственной власти. Неудача этих попыток лишь раз подтверждала мнение писателя о носителях власти как о фигурах, способных делать лишь то, «что им велят делать предание и окружающие» (51, 54). Взгляд его на царскую власть — от «изверга» Петра I до «жалкого, слабого, глупого» Николая II (36, 448—463; 39, 60, 91) — был суровым и беспощадным. Прежний вопрос об относительности прав на власть «Екатерины или Пугачева» приобрел теперь иной смысл: сомнения в том, следует ли повиноваться власти, если «вся история есть история борьбы одной власти против другой, как в России, так и во всех других государствах» (39, 91).

К началу XX века Толстой не только распрощался с теми иллюзиями относительно царской власти, которые у него были до написания «Войны и мира». Он усомнился и в благотворности той любви к стране и государству, которая воспринималась им во время написания романа как естественное, хотя и не требующее открытого выражения чувство.

В 1893—1894 гг., в связи с заключением русско-французского договора (прообраза будущей Антанты), Толстой написал статью «Христианство и патриотизм» (первоначальное название — «Тулон»). В 1896 г. была написана статья «Патриотизм или мир?», в 1900 г. — «Патриотизм и правительство». Идея всех трех статей — безнравственность всякого патриотизма.

«Предполагается, что чувство патриотизма есть, во-первых, чувство, свойственное всем людям, а во-вторых, такое нравственное чувство, что при отсутствии его должно быть возбуждено в тех, кто не имеет его...» — писал Толстой. «Но что же такое это высокое чувство, которое... должно быть возбуждено в народах? Чувство это есть в самом точном определении совсем не что иное, как предпочтение своего государства или народа всякому другому государству и народу... Очень может быть, что чувство это очень желательно и полезно для правительств и для цельности государства, но нельзя не видеть, что чувство это не высокое, а, напротив, очень глупое и безнравственное... потому, что оно... прямо противоречит основному, признаваемому всеми нравственному закону: не делать другому и другим, чего бы не хотели, чтобы нам делали...»

Патриотизм в самом простом и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых целей, а для управляемых — отречение от челове-

ческого достоинства, разума, совести и рабское подчинение себя тем, кто во власти. . .

Патриотизм есть рабство. . .» (39, 52, 61—65).

Возражая людям умеренных взглядов (таким как, например, его английский друг и переводчик Э. Моод), полагавшим, что «вреден только дурной патриотизм, джингоизм, шовинизм», а «настоящий, хороший патриотизм есть очень возвышенное нравственное чувство»,<sup>1</sup> Толстой писал, что «действительный патриотизм, тот, который мы все знаем. . . есть желание своему народу или государству наибольшего благосостояния и могущества, которые могут быть приобретены или приобретаются только в ущерб благосостоянию и могуществу других народов и государств. . .» (90, 49, 425—426).

Судьба этих выступлений Толстого заслуживает внимания. Они не только были запрещены цензурой, но даже распространение их вызывало не раз судебные преследования. При жизни Толстого они публиковались за рубежом; отрывки из них в конце 1908 г. Толстой включил в виде эпитафий в статью «О присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии» (37, 222—242), которую он надеялся (как оказалось — напрасно) провести сквозь цензуру. В России эти статьи были изданы лишь вскоре после революции 1917 г. в виде отдельных брошюр. Позже они переиздавались всего один раз, в академическом Полном собрании сочинений (причем статьи 1896 и 1900 гг. попали почему-то, вопреки хронологии, в дополнительный, 90-й том собрания); ни в какие другие издания их не включали.

И все же они не остались совсем незамеченными. Слова Толстого «патриотизм — есть рабство» несколько лет назад задела чувства В. Г. Распутина, объяснившего в газете «Правда», что «отзываясь так о патриотизме, Толстой перепутал, очевидно, грешные наши дни с царством Божиим на земле, когда люди всех народов и рас будут лобызаться друг с другом».<sup>2</sup>

Перед нами, как выражался булгаковский Коровьев, «случай так называемого вранья». Достаточно прочитать упомянутые статьи, как и другие сочинения Толстого тех лет, чтобы убедиться, что Толстой считал патриотизм безнравственным вовсе не во времена «царства Божия на земле», а именно в современные ему «грешные дни». Живя в Ясной Поляне, Толстой поддерживал оживленные связи со всем миром и вовсе не видел в нем склонности к всеобщему «лобызанию». К написанию статей о патриотизме как раз и побудили его военные союзы, предвещавшие мировую войну, и войны между народами — на Балканах, в Африке, в Америке и на Дальнем Востоке. Именно отсутствие мира на земле дало основание писателю усомниться в благодетельности любого национализма, любой приверженности к собственному отечеству, всегда служащей обоснованием войн.

<sup>1</sup> *Maude Ailmer. The Life of Tolstoy. Later Years. L., 1910. P. 468—469.*

<sup>2</sup> *Распутин В. Г. Знать себя патриотом // Правда. 1938. № 17, 24 июля.*  
С. 4.

«Если бы была задана психологическая задача, как сделать так, чтобы люди нашего времени, христиане, гуманные, просто добрые люди, совершили ужасное злодеяние, не чувствуя себя виноватыми, то возможно одно только решение: надо, чтобы люди были разделены на государства и народы, и чтобы им было внушено, что это разделение так полезно для них, что они должны жертвовать жизнями и всем, что у них есть святого, для вредного их разделения. . .» — писал Толстой (37, 222). Но «что станет с Россией», если она не будет защищать своих национально-государственных интересов — спрашивали у писателя. «Что станет с Россией? . . .» — отвечал Толстой. «Что такое Россия? Где ее начало, где конец? Польша? Остзейский край? Кавказ со всеми своими народами? . . . Амур? Все это не только не Россия, но все это чужие народы, желающие освобождения от того соединения, которое называется Россией. . .» (36, 255).

Изменение во взглядах Льва Толстого на патриотизм сказало-сь на всем его творчестве с 70-х годов XIX в. Именной указатель к девяноста томам его Полного собрания сочинений обнаруживает, что за весь этот период в огромном наследии писателя ни разу уже больше не упоминался Кутузов, занимавший столь важное место в окончательной редакции «Войны и мира», не упоминался и Суворов.<sup>1</sup> Резко отрицательно относился Толстой к наиболее популярному из полководцев конца XIX в. — М. Скобелеву. Он рассказывал, как «после взятия Геок-Тепе, когда солдаты не шли грабить и убивать беззащитных стариков, детей, Скобелев велел напоить их пьяными, и они пошли» (27, 273, 524, 539; ср.: 28, 248; 39, 75).

В январе 1904 г. началась русско-японская война. Лев Толстой откликнулся на нее статьей «Одумайтесь!». «Опять война. Опять никому не нужные, ничем не вызванные страдания, опять ложь, опять всеобщее одурение, озверение людей. . . — писал он. — Все знают неубедительность доводов, приводимых в пользу войн, вроде тех, которые приводил Де-Местр, Мольтке и другие. . . Все так называемые просвещенные люди знают все это. И вдруг начинается война, и все это мгновенно забывается. . . И не говоря уже о военных, по своей профессии готовящихся к убийству, толпы так называемых просвещенных людей, ничем и никем к этому не побуждаемых. . . выражают самые враждебные, презрительные чувства к японцам, англичанам, американцам. . . и без всякой надобности выражают самые подлые, рабские чувства перед царем» (36, 101—105). В ответ на вопрос американской газеты, на чьей стороне он в этой войне, Толстой заявил: «Я ни за Россию, ни за Японию, я за рабочий народ обеих стран, обманутый правительством и вынужденный воевать

---

<sup>1</sup> Кутузов упоминается только в конспективных заметках об Александре I по книге Н. Шильдера (55, 324, 517); рассказ о Суворове Толстой думал было включить в «Азбуку», но так и не написал его (21, 429, 430, 502).

противно собственному благосостоянию, своей совести и религии» (75, № 41, 37).

Уже с 80-х годов Толстой начинает смотреть на историю с новой точки зрения — с позиции противников самодержавной власти.

Каково же было отношение Толстого к противникам этой власти — революционерам? Н. Ульянов утверждал, что «в романе «Воскресение» революционеры, отправленные в заключение и в ссылку, изображены самыми отрицательными чертами».<sup>1</sup> Обращение к роману и другим толстовским сочинениям, дневникам, воспоминаниям современников не подтверждает этих слов. Еще в 1884 г., познакомившись с письмами политической ссыльной Н. Армфельд, Толстой записал в Дневнике: «Нельзя запрещать людям высказывать друг другу свои мысли о том, как лучше устроиться. А это одно, до бомб, делали наши революционеры» (49, 81). В 1889 г., написав статью в защиту политических заключенных, он вновь возвращался к вопросу о «требованиях» революционеров: «Оттого, что с требованиями этими связано убийство 1-го марта, люди вообразили, что требования эти неправильны. Напрасно. Они будут верны до тех пор, пока не будут исполнены» (50, 194). Обратившись к «Воскресению», написанному в 90-х годах, мы можем убедиться, что революционеры изображены там далеко не только отрицательными чертами. Описывая знакомство Нехлюдова на этапе с политическими заключенными, Толстой писал: «С самого начала революционного движения в России, и в особенности после 1-го марта, Нехлюдов питал к революционерам недоброжелательное и презрительное чувство. . . Но узнав их ближе и все то, что они часто безвинно перестрадали от правительства, он увидел, что они и не могли быть иными, как такими, какими они были. . . Узнав их ближе, Нехлюдов убедился, что это не были сплошные злодеи, как их представляли себе одни, и не были сплошные герои, какими считали их другие, а были обыкновенные люди, между которыми были, как и везде, хорошие и дурные и средние люди. Были среди них люди, ставшие революционерами потому, что искренно считали себя обязанными бороться с существующим злом; но были и такие, которые избрали эту деятельность из эгоистических, тщеславных мотивов; большинство же было привлечено к революции знакомым Нехлюдову по военному времени желанием опасности, риска, наслаждением игры своей жизнью — чув-

---

<sup>1</sup> *Oulianoff N. Tolstoy's Nationalism*. P. 102. Вся статья Н. Ульянова имела чрезвычайно тенденциозный характер. Не разбирая совсем исторической философии «Войны и мира», автор отверг ее за «дикий и безрассудный экстремизм»; оставил без внимания он и аргументацию писателя в статьях о патриотизме, противопоставив ей отдельные примеры отрицательного изображения инородцев в сочинениях Толстого и утверждая, что «во всей истории мировой литературы трудно найти другого писателя, чьи чувства и поведение так противоречили бы его учению», как у Толстого (p. 109—113).

ствами, свойственными самой обыкновенной энергической молодежи. Различие их от обыкновенных людей, и в их пользу, состояло в том, что требования нравственности среди них были выше тех, которые были приняты в кругу обыкновенных людей. Среди них считались обязательными не только воздержание, суровость жизни, правдивость, бескорыстие, но и готовность жертвовать всем, даже своею жизнью, для общего дела. И потому те из этих людей, которые были выше среднего уровня, были гораздо выше его, представляли из себя образец редкой нравственной высоты; те же, которые были ниже среднего уровня, были гораздо ниже его. . .» (33, 373—375). К числу тех революционеров, которых он считал «образцом редкой нравственной высоты», Толстой относил Софью Перовскую, Валериана Осинского, Дмитрия Лизогуба (последнего он описал в первоначальном варианте «Воскресения» — в рассказе «Божеское и человеческое» под именем Светлогуба); отвергая их деятельность, он писал, однако, это это были «лучшие, высоконравственные, самоотверженные, добрые люди» (36, 151).

Отношение Толстого к революции 1905 г. было двойственным. К либеральному движению 1904 г. он относился отрицательно и высказал это отношение в телеграмме, посланной в ответ на запрос одной американской газеты. Телеграмма Толстого была с большой радостью воспринята реакционной газетой «Московские ведомости», поместившей ее в обратном переводе и с сокращениями. Люди, сочувствовавшие освободительному движению, восприняли публикацию «Московских ведомостей» как доказательство враждебности Толстого революции и в многочисленных письмах упрекали писателя. Одно из таких писем, очень резкое, было написано Горьким, хотя отправлено им не было.<sup>1</sup> В начале 1905 г., уже после 9 Января, Толстой написал статью «Общественное движение в России». Основная тема этой статьи — бесперспективность революции: «Не только русское, но и всякое правительство я считаю. . . учреждением для совершения посредством насилия безнаказанно самых ужасных преступлений, убийств, ограблений, спаивания, одурения народа богатыми и властолюбивыми». Деятельность революционеров он считал целесообразной, «потому что борьба силою и вообще внешними проявлениями (а не одной духовной силой) ничтожной горстки людей с могущественным правительством, отстаивающим свою жизнь и имеющим для этого в своей власти миллионы вооруженных дисциплинированных людей и миллиарды денег, — только смешна с точки зрения возможности успеха и жалка с точки зрения гибели тех несчастных увлеченных людей, которые гибнут в этой борьбе» (36, 157—158). Но уже во второй половине 1905 г. в статье «Конец века» Толстой высказал мысль о неизбежности произошедшей революции.

---

<sup>1</sup> Горький М. Собр. соч. М., 1954. Т. 28. С. 357—361.

О людях, которым она представлялась неожиданностью, он писал: «Люди эти должны понять, что революции не делаются нарочно: „дай, мы сделаем революцию“» (36, 260). «Причины совершающейся в России революции, — беспорядки, буйства, насилие. . . никак не доказывают, что существующий порядок был хорош. Революция состоит в замене худшего порядка лучшим. И замена эта не может совершиться без внутреннего потрясения, но потрясения временного. Замена же дурного порядка лучшим есть неизбежный и благотворный шаг вперед человечества» (36, 479, 487—488). Несколько раз возвращался Толстой к параллели между русской и Великой французской революцией: «Думаю, что начинающаяся сейчас в России революция будет, как и большая французская революция, не только русская революция, но революция всемирная. . . Как французы были призваны к тому, чтобы обновить мир, так к тому же призваны русские в 1905 г.» (36, 480, 667; ср. 55, 151).<sup>1</sup> И вместе с тем Толстой вовсе не был солидарен в 1905—1906 гг. с революционерами. Спор с ними он вел не только с нравственных позиций, отрицая сопротивление злу насилием, но и на основе своих представлений об историческом процессе. С одной стороны, он не верил в то, что «одни люди должны и могут устраивать жизнь других людей», и предсказывал, что представители «нового правительства», созданного революцией, могут захватить «львиную долю» власти и богатства, а с другой — сомневался в успехе самой революции. Он утверждал, что нет «ни малейшего вероятия» в победе революционеров над царским строем (36, 149, 158).

Уже после этого предсказания произошло восстание на броненосце «Потемкин» и Октябрьская стачка, заставившая царя согласиться на манифест 17 октября. Но самодержавие все же оказалось достаточно сильным, чтобы справиться с революцией, и в этом смысле пророчество Толстого подтвердилось.

Наступила эпоха, которую до последних лет обычно именовали «стольпинской реакцией».

### Толстой и Столыпин

Ни одному из политических деятелей начала XX в. не повезло в наше время так, как Столыпину. Годы его правительственной деятельности считаются временем национального и государственного подъема России: почти парламентский строй, почти свободная печать, высокая урожайность и хлебный экспорт, бурное развитие промышленности. В центре этих событий — министр внутренних дел, а затем премьер — Петр Аркадьевич Столыпин. В оценке его сходятся самые различные деятели нашего времени. На первом съезде народных депутатов СССР

---

<sup>1</sup> Такие же высказывания Толстого приводил Гольденвейзер. См.: *Гольденвейзер А. В.* Вблизи Толстого (записи за 15 лет). М., 1922. Т. 1.

Валентин Распутин, обращаясь к чересчур либеральным и угрожающим государственным устоям ораторам, привел знаменитые слова Столыпина из его думской речи: «Вам, господа, нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Привел, правда, с осторожностью — не назвав источник цитаты и заменив «великую Россию» на «великую страну».<sup>1</sup> Осторожность была вызвана условиями времени: существовал еще Союз Советских Социалистических Республик, и В. Распутину предстояло стать видной фигурой в этом государстве — советником Президента СССР. Прямо отождествлять Советский Союз с Российской империей Столыпина было неудобно; приходилось говорить о «великой стране». Но осторожность была излишней. Уже с 1989 г. имя Столыпина стало все чаще появляться на страницах печати. В начале 1990 г. ему одновременно были посвящены статьи в двух журналах: в «Молодой гвардии» была перепечатана старая статья харбинского эмигранта В. Н. Иванова; в «Нашем современнике» — опубликована статья И. Дьякова «Забытый исполин». В статье Дьякова есть все, чему положено быть в «Нашем современнике»: «тайные шапши бесчестных политиканов, именитых думских деятелей, направленные прямо против национальных интересов Российской империи» (Милюков, Набоков), «масон Ковалевский», защищавший почему-то эсеровскую программу, иностранные конкуренты, напуганные русским хлебным экспортом и пестовавшие недовольных «как слева, так и справа», «царь, далеко не „бездарный“, далеко не „нерешительный“», отстоявший Столыпина, и, наконец, убивший его «подонок» — «Мордка Богров».<sup>2</sup>

Однако национал-патриоты в защите Столыпина так же запоздали, как и В. Распутин, когда он цитировал Столыпина, не называя его по имени и искажая текст его речи. «Исполин» уже перестал к этому времени быть «забытым». Еще в июле 1989 г. либеральная «Литературная газета» опубликовала интервью с 85-летним сыном Столыпина Аркадием Петровичем, а беседовавшая с ним интервьюерша охарактеризовала П. А. Столыпина как государственного деятеля, который «лучше понял психологию, настроения и чаяния крестьян, чем интеллигенция, которая все время кстати и некстати клялась именем народа».<sup>3</sup> «К Столыпину я отношусь крайне положительно... Столыпин был надеждой страны и начал очень плодотворный процесс», — заявил один из наиболее видных современных экономистов страны Н. Шмелев.<sup>4</sup> Подобные симпатии выразили в беседах по радио публицист Ю. Черниченко и писатель-эмигрант Б. Хазанов. Хазанову вспомнились при этом, правда, и тюремные «столыпин-

<sup>1</sup> Правда. 1989. 7 июня. С. 5.

<sup>2</sup> Наш современник, 1990. № 3. С. 132—140; ср.: Молодая гвардия. 1990. № 3. С. 43—50.

<sup>3</sup> Литературная газета. 1989. 12 июля.

<sup>4</sup> Там же. 26 июля.

ские» вагоны, в которых ему, тогдашнему «зеку», пришлось несколько раз пересечь страну.

Однако всеобщему преклонению перед Столыпиным сильно мешают свидетели, чьи показания игнорировать труднее, чем воспоминания о школьных и вузовских уроках. Это не только узник столыпинской каторги Андрей Соболев — как никак, бывший революционер, лицо небеспристрастное, не только советские исследователи, которых всегда можно заподозрить в необъективности. Это и современники, с которыми трудно не считаться.

В первую очередь здесь надо назвать Толстого. Толстой знал Столыпина не понаслышке. «...Вспомнился этот ужасный Столыпин, сын моего старого друга Аркадия Столыпина, душевно хорошего человека, старого генерала... который сжег все свои писанные воспоминания о войнах... потому, что пришел к убеждению, что война зло... И вот сын, которого я, слава Богу, не знаю, стал во главе того правительства, которое совершает бессмысленно, глупо все эти ненужные вредные ужасы...» — писал Толстой в сентябре 1906 г. в заключении к статье «Что же делать?» (36, 536—540). В июле 1907 г. Толстой обратился к Столыпину непосредственно, как к «стоящему на ложной дороге сыну моего друга»: «Вам предстоят две дороги: или продолжать ту, начатую Вами деятельность не только участия, но и руководства в ссылках, каторгах, казнях... или... содействовать уничтожению давней, великой, общей всем народам жестокой несправедливости земельной собственности... — удовлетворением законных желаний народа, успокоить его, прекратив этим те ужасные злодеяния, которые теперь совершаются как со стороны революционеров, так и правительства» (77, № 192, 164—168). П. А. Столыпин ответил не сразу, и в августе того же года, в письме к его брату Александру Аркадьевичу, в котором он просил о смягчении участи одного арестованного, Толстой просил напомнить министру о своем письме и вновь призывал «заменить все те ужасы репрессии, которые совершаются теперь, благотельной мерой, осуществляющей давнишние справедливые пожелания всего народа...» (77, № 209, 181). Некоторое время спустя Толстому ответил сам П. А. Столыпин. Он отстаивал право собственности на землю, как соответствующее «врожденным инстинктам» человека, ничего не сказав, однако, о характере своей политики — «ссылках, каторгах, казнях», о которых писал Толстой.<sup>1</sup> В январе 1908 г. Толстой вновь написал Столыпину: «За что, зачем Вы губите себя, продолжая начатую Вами ошибочную деятельность?.. Вы сделали две ошибки: первая — начали насильем бороться с насилием и продолжаете это делать, все ухудшая и ухудшая положение... вторая — думали в России... успокоить население тем, чтобы, уничтожив общину, образовать мелкую земельную собственность... Мне со стороны ясно видно, что Вы делаете и что Вы себе готовите в истории...» (78, № 29, 41—44).

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой. Юбилейный сб. М., 1929. С. 91—92.

В декабре 1908 г. Толстой написал А. А. Столыпину в связи с его статьей в защиту смертной казни краткое письмо: «Стыдно, гадко. Пожалейте свою душу» (79, № 329, 294). Он снова дважды намеревался писать П. А. Столыпину — сохранились черновые тексты этих писем. В июле 1909 г. Толстой решил заступиться за некоего Попова, осужденного на смерть, и вместе с тем снова обращался к премьеру: «Бросьте свое положение, откажитесь от него, чего так желают многие, открыто выйдя из своего положения и заявив миру про причину...» (57, 227—228; ср.: 97—99). В августе того же года он составил более развернутое письмо: «Пишу Вам об очень жалком человеке, самом жадном из всех, кого я знаю теперь в России... Человек этот — вы сами... Не могу понять того ослепления, с которым вы можете продолжать вашу деятельность, — деятельность, угрожающую всему вашему материальному благу (потому что вас каждую минуту хотят и могут убить), губящую ваше доброе имя, потому что уже по теперешней вашей деятельности вы заслужили ту ужасную славу, при которой всегда, покуда будет история, имя ваше будет повторяться как образец грубости, жестокости и лжи... Вместо умиротворения вы до последней степени напряжения доводите раздражение и озлобление людей всеми этими ужасами произвола, казней, тюрем, ссылок и всякого рода заповеней...» (80, № 112, 79—84). Ни то, ни другое письмо отправлено не было — к этому времени Толстой пришел к выводу, что нельзя «серьезно обращаться к царю, к Столыпину...»

Современным поклонникам Столыпина эти высказывания писателя малоизвестны, и они, напротив, убеждены, что история не осудила, а оправдала Столыпина. Своеобразным доказательством от противного его правоты служит в их глазах дальнейшая судьба русского крестьянства: вместо установления частной собственности на землю была проведена насильственная коллективизация, и сельское хозяйство страны оказалось разрушенным.

Однако при всей внешней очевидности такие рассуждения далеко не убедительны. Колхозы — не крестьянские общины; существовавшие в XIX—начале XX в., это государственные учреждения, где никакой «мир» ничего не решает. Были ли реальны или нереальны идеи всеобщего свободного пользования землей, регулируемого лишь единым «земельным налогом» (идеи Генри Джорджа), которые Толстой противопоставлял столыпинской реформе, они ничего общего со сталинским «социализмом» не имели. Толстой не только не возражал против утверждения Столыпина, что «обладание собственностью есть приращенное и неистребимое свойство человеческой природы», но писал, что он «совершенно согласен с этим». Он считал, однако, что система единого налога сохраняет истинно законное право — «право собственности на произведения своего труда» (78, 44).

Главное, что отвергал Толстой в реформах Столыпина, было то же «суеверие устроительства», которое отвращало его от революционных реформаторов. Как и современные ему марксисты,

Столыпин исходил из опыта стран Запада, где предпосылкой успешного развития промышленности и сельского хозяйства было складывание и укрепление частной собственности. Но развитие капитализма на Западе не было порождено чьими-либо указами или реформами. Оно было следствием глубокого и органического развития западных стран. Столыпин же, как впоследствии социалистические преобразователи истории, не намерен был дожидаться того, чтобы крестьяне выразили желание изменить свое положение. «Ставить в зависимость от доброй воли крестьян момент ожидаемой реформы, рассчитывать, что при подъеме умственного развития населения, которое настанет неизвестно когда, жгучие вопросы разрешатся сами собой, — это значит отложить на неопределенное время проведение тех мероприятий, без которых немислима ни культура, ни подъем доходности земли, ни спокойное владение земельной собственностью», — заявлял он.<sup>1</sup>

Столыпинское «устроительство» осуществлялось без учета «доброй воли крестьян», чьи «однородные влечения» (если употреблять толстовский термин) в условиях русской жизни начала XX в. побуждали их стремиться к «черному переделу» всех земель — помещичьих, государственных и хуторских. Отражением воли крестьян было народническое движение, представители которого играли важную роль в первых двух Думах и одержали десятилетие спустя убедительную победу на выборах в первый в русской истории парламент, избранный на основе всеобщего, прямого, равного и тайного избирательного права, — Учредительное собрание, где народники (эсеры) имели подавляющее большинство.

Но деятельность Столыпина имела и другую сторону — ту, о которой сегодня мало вспоминают. Программа его в значительной степени отражала требования дворянского съезда 1906 г., призывавшего уничтожить общину, как организацию, объединявшую крестьян для борьбы с помещиками. Первая и вторая Думы, при которых начал свою деятельность Столыпин, при всей ограниченности избирательного права, имели все-таки левое большинство, не устраивавшее ни объединенное дворянство, ни премьера. В 1907 г. Столыпин пошел на «третьеиюньский переворот» и создание новой, откровенно несправедливой избирательной системы, имевшей целью «пропустить все выборы через фильтр крупного землевладения» и прозванной в правительственных кругах (и даже самим царем) «бесстыжей». «Третьеиюньский переворот» был направлен не только против крестьянских, но и против национальных движений: «Созданная для укрепления государства Российского, Государственная дума должна быть русской и по духу. Иные народности должны иметь в Государственной думе представителей нужд своих, но не должны и не будут являться в числе, дающем им возможность быть верши-

<sup>1</sup> Выступление в Гродненском комитете для обсуждения нужд сельскохозяйственной промышленности. Цит. по: *Зырянов П. Н.* Столыпин без легенд // *Историки отвечают на вопросы.* Сб. М., 1990. Вып. 2. С. 110.

телем вопросов чисто русских», — гласил царский манифест 1907 г.

Уже в августе 1906 г., после роспуска первой Думы, был принят указ о военно-полевых судах, согласно которому судопроизводство должно было длиться не более 48 часов, а приговор приводился в исполнение через 24 часа; наряду с ними продолжали действовать военно-окружные суды. Статистика установила, что за четыре года после революции 1905 г. в России было казнено две с половиной тысячи человек — в пять раз больше, чем за 40 лет после судебной реформы 1864 г. (сверх того, 23 тысячи были отправлены на каторгу, 39 тысяч — в ссылку).<sup>1</sup> Конечно, несколько тысяч казненных — цифра не слишком внушительная для последующих десятилетий, когда количество жертв стало исчисляться десятками миллионов. Но любой статистик знает, что при динамических процессах важны не столько абсолютные цифры, сколько относительные, — кривая убийств начала стремительно подниматься вверх на диаграмме еще до 1917—1918 гг., до расстрелов в екатеринбургском подвале, которые многие склонны считать историческим рубежом.

«Столыпин влюблен в виселицу, этот сукин сын...» — таково было одно из последних высказываний Толстого о Столыпине.<sup>2</sup> В декабре 1909 г. Толстой написал свою знаменитую статью «Не могу молчать»: «„Семь смертных приговоров: два в Петербурге, один в Москве, два в Пензе, два в Риге. Четыре казни: две в Херсоне, одна в Вильне, одна в Одессе“. И это в каждой газете. И это продолжается не неделю, не месяц, не год, а годы...»

Толстой писал далее о разращении «всех сословий русского народа», распространяющемся «с необычайной быстротой»: «Недавно еще не могли найти во всем русском народе двух палачей. Еще недавно, в 80-х годах, был только один палач во всей России... Теперь не то.

В Москве торговец-лавочник, расстроив свои дела, предложил свои услуги для исполнения убийств, совершаемых правительством, и, получая по 100 рублей с повешенного, в короткое время так поправил свои дела, что скоро перестал нуждаться в этом побочном промысле, и теперь ведет по-прежнему торговлю.

В Орле в прошлых месяцах, как и везде, понадобился палач, и тотчас же нашелся человек, который согласился исполнять это дело, срядившись с заведующим правительственными убийствами за 50 рублей с человека. Но, узнав уже после того, как он срядился в цене, о том, что в других местах платят дороже, добровольный палач во время совершения казни, надев на убиваемого саван-мешок, вместо того чтобы вести его на помост, остановился

<sup>1</sup> Таганцев Н. С. Смертная казнь. СПб., 1913. С. 89—93. Ср.: Дякин В. С. Был ли шанс у Столыпина? // Звезда. 1990. № 12. С. 113; Зырянов П. Н. Столыпин без легенд. С. 116; Анфимов А. М. Тень Столыпина над Россией // История СССР. 1991. № 4.

<sup>2</sup> «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого // Литературное наследство. М., 1979. Т. 90. Кн. 4, с. 196.

и, подойдя к начальнику, сказал: «Прибавьте, ваше превосходительство, четвертой билет, а то не стану». Ему прибавили, и он исполнил.

О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети, гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как прежде шли на охоту. Перебить крупных землевладельцев для того, чтобы завладеть их землями, представляется теперь многим людям самым верным разрешением земельного вопроса.

Вообще благодаря деятельности правительства, допускающего возможность убийства для достижения своих целей, всякое преступление: грабеж, воровство, ложь, мучительства, убийства считаются несчастными людьми, подвергшимися разращению правительства, делами самыми естественными, свойственными человеку».

Отвергая главный довод защитников казней: «Начали не мы, а революционеры», — Толстой писал, что «если есть разница между вами и ими, то отнюдь не в вашу, а в их пользу», указывая, что «их злодеяния совершаются при условиях большей личной опасности, чем та, которой вы подвергаетесь, а риск оправдывает многое в глазах увлекающейся молодежи», что их «убийства все-таки не так холодно-систематически жестоки, как ваши Шлиссельбурги, каторги, виселицы, расстрелы», и, наконец, что в отличие от «правительственных людей» революционеры не изображают из себя христиан (37, 83—92).

В первой редакции статьи Толстой писал: «. . . Как ни ужасны дела революционеров: все эти бомбы, и Плева, и Сергей Александрович, и те несчастные, неумышленно убитые революционерами, дела их по количеству убийств и по мотивам едва ли не в сотни раз меньше и числом и, главное, менее нравственно дурны, чем ваши злодеяния. В большинстве случаев в делах революционеров есть. . . желание служить народу и самопожертвование. . . Не то у вас: вы, начиная с палачей Петра Столыпина и Николая Романова, руководитесь только самыми подлыми чувствами: властолюбия, тщеславия, корысти, ненависти, мести. . .» Говоря о своих колебаниях, перед тем как выразить чувства «негодования и отвращения, которые возбуждают во мне все эти председатели военных судов, Щегловитовы, Столыпина и Николай», Толстой говорил о том, что не хочет больше «бороться с этим чувством», ибо «мое обличение их вызовет желательное мне извержение меня тем или иным путем из того круга людей, среди которого я живу, и вообще из круга живых людей. . .» (37, 393—396). В окончательной редакции статьи «Не могу молчать» эта мысль была выражена еще сильнее: «Затем я и пишу это и буду всеми силами распространять то, что я пишу, и в России и вне ее, чтобы одно из двух: или кончились эти нечеловеческие дела, или. . . чтобы посадили меня в тюрьму, где бы я ясно сознавал, что не для меня уже делаются эти ужасы, или, что было бы

лучше всего (так хорошо, что я не смею мечтать о таком счастье), надели на меня, так же как на тех... крестьян, саван, колпак и так же столкнули с скамейки, чтобы я своею тяжестью затанул на своем старом горле намыленную петлю...» (37, 95).

Так писал Толстой. А вот другой свидетель, даже лучше, чем Толстой, знакомый с повседневной русской действительностью, — Владимир Короленко.

В статье «Бытовое явление», произведшей сильнейшее впечатление на Толстого (81, 187—188), В. Короленко рассказывал о казни восьми человек 16 мая 1906 г., совершенной рижским губернатором в обход закона и вопреки единогласному обращению Думы, и о законопроекте об отмене смертной казни, принятом первой Думой 19 июня 1906 г. и отвергнутом Столыпиным. Он писал о казнях крестьян, рабочих, интеллигентов: «Виселица опять принялась за работу, и еще никогда, быть может со времен Грозного, Россия не видела такого количества смертных казней. До своего „обновления“ старая Россия знала хронические голодовки и повальные болезни. Теперь к этим привычным явлениям наша своеобразная конституция прибавила новое. Среди обычных рубрик смертности (от голода, тифа, дифтерита, скарлатины, холеры, чумы) нужно отвести место новой графе: „от виселицы“. Почти ежедневно, в предутренние часы, когда над огромною страню царит крепкий сон, где-нибудь по тюремным коридорам зловеще стучат шаги; кого-нибудь поднимают от кошмарного забытья и ведут, здорового и полного сил, к готовой могиле...»

И далее следовало описание быта «смертников» в русских тюрьмах: смена их настроений в долгие дни ожидания казни, предсмертные письма и записки осужденных, самоубийства приговоренных, не выдержавших ожидания смерти, казни несовершеннолетних и лиц, оказавшихся потом невиновными, самая процедура ежедневных и поспешных казней.

Вспоминая затем выступления Гюго против смертной казни, Короленко спрашивал, что сказал бы теперь этот великий поэт и гуманист, если бы увидел «целую страну, где не один человек, а сотни и тысячи живут со взглядами, устремленными в свой последний день, в то время как другие дышат свободно, дышат, разговаривают, смеются... Где чуть не каждую ночь в течение нескольких лет уже происходят казни... Где самая казнь потеряла уже характер мрачного торжества смерти и превратилась в „бытовое явление“, в прозаические деловые будни. Где не хватает виселиц, а людей вешают походя, ускоренным и упрощенным порядком, без формальностей, на пожарных лестницах, при помощи первых попавшихся под руку обрывающихся гнилых веревок».<sup>1</sup>

Можно назвать еще других современников, которых не менее трудно дезавуировать поклонникам Столыпина, — в частности,

<sup>1</sup> Короленко В. Г. Собр. соч.: В 10 т. М., 1955. Т. 9. С. 477—527.

составителей столь модного ныне сборника «Вехи». Один из них, А. Изгоев, автор первой биографии Столыпина, соглашался с премьером в том, что «для переустройства нашего царства нужен крепкий собственник». Но, указывая Изгоев, Столыпин не мог «не видеть, что в условиях русской жизни проводима реформа не дает прочных прогрессивных хозяйств, а рождает злобу и вражду в деревне», что «огульные расправы „административным путем“ над общинниками вызывают такую ненависть к хуторянам, которая к добру не приведет... В атмосфере бесправия и беззакония реформа действительно может вырождаться в обезземеление части крестьян для увеличения земельных владений для кой-каких кулаков...» Пытаясь ответить на вопрос: «Что же П. А. Столыпиным было сделано для водворения порядка на Руси?», — Изгоев приводил любопытную таблицу, в которой сравнивал обещания, данные Столыпиным в декларации 6 марта 1907 г., и результаты его деятельности. Из 43 пунктов этой декларации частично было выполнено лишь несколько. Началось строительство Амурской дороги — то самое, которое описывал Андрей Соболев в тексте, приведенном в начале этой главы; были введены земские учреждения в западных губерниях, где они имели явно антиполюский характер. Что же касается главного пункта декларации — предоставления крестьянам государственных, уделных и кабинетских земель, то из более 9 миллионов десятин крестьянам была продана 281 тысяча.<sup>1</sup>

Не менее резко охарактеризовал деятельность Столыпина другой «веховец» — П. Б. Струве: «„Органическими“ чертами своей натуры, ее корнями Столыпин уходил в старую дворянско-помещичью Россию... Он не был из числа тех могущественных фигур, которые примиряют исторические стихии, становясь как бы над ними... Именно примирения и успокоения Столыпин не осуществил. Отчасти он не мог этого сделать по условиям той исторической обстановки, на которую выдвинула его судьба... Но и в личных свойствах его было немало отрицательных черт, делавших для него непосильной задачей оздоровления государства средствами не только политическими, но и моральными. Это сказалось в его, на мой взгляд, чисто патологическом равнодушии или, если угодно, пристрастии к смертной казни. Тут было не только теоретическое убеждение и боевой азарт, тут было что-то органически нездоровое, загадочно болезненное и, в сущности, весьма далекое от настоящей реальной политики».<sup>2</sup>

Обо всех этих свидетельствах не мешало бы помнить людям, объявляющим сегодня Столыпина великим реформатором, не

<sup>1</sup> Изгоев А. С. П. А. Столыпин. М., 1912. С. 114—123. Об итогах столыпинской реформы см. также: Robinson G. T. Rural Russia under the Old Regime. N. Y., 1961. P. 226—227; Yaney G. The Urge to Mobilise, Agrarian Reform in Russia. 1861—1930. University of Illinois, 1982. P. 400, 558—561; Дякин В. С. Был ли шанс у Столыпина? С. 122.

<sup>2</sup> Струве П. Б. Преступление и жертва // Struve P. B. Collected Works: In 15 Vol. Ann Arbor, 1970. V. IX, N 414. P. 142—143.

спасшим Россию только из-за козней злодеев. Что можно противопоставить свидетельствам современников? Для защиты репутации Столыпина его поклонники ссылаются на то, что вошедшие в историю «стольпинские вагоны» были созданы не для заключенных, а для переселения крестьян в Сибирь и получили свою зловещую славу «много позже», но когда именно — неясно. Указывают еще, что кадетский оратор Родичев, назвавший виселицы 1906—1907 гг. «стольпинскими галстуками», взял затем свои слова обратно. Аргумент странный: даже если Родичев отказался от своих слов не из-за их резкости, но потому, что Столыпин намеревался вызвать его на дуэль, а он не чувствовал в себе способностей дуэлянта, это не лишает значения свидетельства Толстого, Короленко и множества современников.

Остаются общие соображения: «стольпинские галстуки» были неизбежны для умиротворения страны. Оставим даже в стороне вопрос о том, оправдывает ли цель средства: в сущности, в истории еще не было ни одного правителя или военачальника, который не прибегал для осуществления поставленных им задач к средствам, не совместимым с нравственностью. Но есть определенное соотношение между целями и средствами. Мероприятия, поддерживаемые большинством населения или хотя бы не вызывающие активного противодействия, не требуют особенно жестоких средств — они могут быть проведены мирным путем. Для осуществления действий, отвечавших пожеланиям значительной части населения — переселения крестьян на сибирские земли, создания крестьянского банка, Столыпину не нужны были казни и ссылки. Но подавляя освободительное движение, насильственно разрушая общину, Столыпин не считался с «доброй волей» крестьян — он игнорировал их требования земельного передела, а на самовольные захваты отвечал репрессиями. Во имя цели, пути осуществления которой были неясны и которая основывалась только на весьма общих представлениях о человеческих «инстинктах» и путях исторического развития, совершалась массовая, не знакомая Россия до начала XX в. карательная политика.

Чем же объясняется нынешняя безмерная популярность Столыпина? Прежде всего, как мы уже отметили, она строится на рассуждении от противного: перед лицом фактического уничтожения русского крестьянства как социального слоя люди обращают свой взгляд назад в поисках правильного пути, с которого сошла страна. Но никаких доказательств того, что путь, предложенный Столыпиным, должен был привести к благотворным результатам, не существует, — кроме упомянутых рассуждений о путях исторического развития. История не знает эксперимента, и мы не можем определить, мог ли бы Столыпин осуществить свои реформы, и к чему бы это привело. Но мы знаем другое: реформы эти осуществлены не были — и отнюдь не из-за «именитых думских деятелей». Фактически, к 1911 г. Столыпин был отстранен царем от власти — отсюда и бездействие охраны,

подставившей опального премьера под выстрел террориста. А в 1917 г. хутора, созданные в ходе столыпинской реформы (и прижившиеся лишь в некоторых губерниях), были уничтожены не «шашнями бесчестных политиканов», а массовым крестьянским движением.

Поклонников Столыпина привлекают, видимо, не только умозрительные представления о возможных следствиях его реформ, но и самый облик «великого преобразователя». Человек с сильным характером и волей к победе — он выгодно отличался от таких нерешительных деятелей, как Николай II или Керенский. Но старшее поколение советских людей знало и других деятелей «с волей и характером», «великих преобразователей», к которым «крайне положительно» относились многие советские интеллигенты, верившие, что они понимали «психологию, настроения и чаяния народа» лучше, чем простые смертные. Да, они были жестоки, но произвели такие преобразования, которые были грандиознее столыпинских, и умерли в славе, оплаканные современниками. Ныне они не в почете — из-за бесчисленных жертв их деяний. Но прокляв людей, на счету которых миллионы загубленных жизней, должны ли мы поклоняться человеку, на совести которого лишь тысячи?

### Толстой и «Вехи»

В 1909 г., за год до смерти Льва Толстого, в Москве был опубликован сборник «статей о русской интеллигенции», озаглавленный «Вехи». Сборник получил широчайший резонанс — вслед за первым изданием вскоре было выпущено второе, а затем еще четыре. Прошло семь-восемь десятков лет, и сборник этот, основательно забытый за прошлые десятилетия, вновь обрел популярность. Он стал восприниматься как пророчество о будущей революции, не услышанное современниками. «Пророческая глубина „Вех“ не нашла... сочувствия читающей России, не повлияла на развитие русской ситуации, не предупредила гибельных событий...» — писал в 1974 г. Солженицын.<sup>1</sup>

Сборник «Вехи» не принадлежал к числу тех книг, которые вплоть до эпохи «гласности» скрывались в недрах спецхрана и были доступны лишь особо доверенным лицам. В отличие от «Несвоевременных мыслей» Горького, писем Короленко и сочинений запрещенных авторов, сборник этот свободно выдавался читателям научных библиотек. Многие из них могли принять здравые мысли, содержащиеся в сборнике: замечания Б. А. Кистяковского об отсутствии правового сознания не только у властей, но и во всем русском обществе, справедливые указания (Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк) на явное противоречие между

<sup>1</sup> Солженицын А. Образованщина // Из-под глыб. Сб. YMCA-PRESS, 1974. С. 5.

детерминизмом социалистов и их верой в «прогресс, осуществляемый силами человека».<sup>1</sup> Однако нигде в сборнике «Вехи» мы не находим пророчеств о будущей революции. Авторы сборника действительно отрицательно оценивали русскую революцию, но это была уже прошедшая революция — 1905 года, а отнюдь не будущая.

«Россия пережила революцию. Эта революция не дала того, чего от нее ожидали. Положительные приобретения освободительного движения все еще остаются, по мнению многих, и по сие время по меньшей мере проблематичными. Русское общество, истощенное предыдущим напряжением и неудачами, находится в каком-то оцепенении, апатии, духовном разброде, унынии. Русская государственность не обнаруживает пока признаков обновления и укрепления, которые для нее так необходимы, и, как будто в сонном царстве, все опять в ней застыло, скованное неодолимой дремой. Русская гражданственность, омрачаемая многочисленными смертными казнями, необычайным ростом преступности и общим огрубением нравов, пошла положительно назад...», — писал С. Н. Булгаков. Русская интеллигенция, которую авторы сборника считали главным творцом и виновником неудачи русской революции, по словам М. О. Гершензона, «не могла победить деспотизм: ее поражение было предопределено». «Реакция торжествует, казни не прекращаются — в обществе гробовое молчание...» — сетовал А. Изгоев. «Поражение русской революции и события последних лет — уже достаточно жестокий приговор над нашей интеллигенцией», — заявлял Б. Кистяковский.<sup>2</sup>

Что же дальше? После поражения революции 1905 г., полагали авторы «Вех», русская интеллигенция неизбежно должна отказаться от прежних революционных идеалов и сменить их на национальные и религиозные. «Русская интеллигенция, отрешившись от безрелигиозного государственного отщепенства, перестанет существовать, как некая особая культурная категория... В процессе экономического развития интеллигенция „обуржуазится“, т. е. в силу процесса социального приспособления примирится с государством и органически-стихийно втянется в существующий общественный уклад... Может наступить в интеллигенции настоящий духовный переворот...» — предполагал П. Б. Струве.<sup>3</sup> Еще конкретнее были пророчества М. Гершензона и А. Изгоева. «Теперь принудительная монополия общественности свергнута... — писал Гершензон. — Теперь наступает другое время, чреватое многими трудностями. Настает время, когда юношу на пороге жизни уже не встретит готовый идеал, а каждому придется самому определять для себя смысл и направление своей жизни, когда каждый будет чувствовать себя ответственным за все, что он делает, и за все, чего он не делает. Еще будут рецидивы общего увлечения политикой... Опять и опять будут

<sup>1</sup> Вехи. М., 1909. С. 13, 36, 191.

<sup>2</sup> Там же. С. 23, 87, 92, 155.

<sup>3</sup> Там же. С. 173.

взрывы освободительной борьбы, старая вера вспыхнет и наполнит энтузиазмом сердца. Но каждый раз после вспышки общество будет разоружаться, — только старые поколения нынешней интеллигенции до смерти останутся верными едино-спасающей политике. Над молодежью тирания гражданственности сломлена надолго. . . Юноша ближайших лет не найдет готового общепризнанного догмата; он встретит разнообразие мнений, верований и вкусов, которые смогут служить ему только руководством при выборе, но не отнимут у него свободы выбора. . .» Изгоев находил и конкретный идеал будущего развития России: «. . . быть может, самый тяжелый удар русской интеллигенции нанесло не поражение освободительного движения, а победа младотурок, которые смогли организовать национальную революцию и победить почти без пролития крови».

В примечании к этим словам Изгоев указал даже, что «история младотурок была и вечно будет ярким примером той нравственной мощи, которую придает революции одушевляющая ее национально-государственная идея. . .»<sup>1</sup> Увы, для того чтобы оценить «нравственную мощь» «национально-государственной идеи» младотурок, не понадобилось вечности. Она обнаружилась уже через шесть лет после выхода «Вех», когда организаторы «национальной революции» уничтожили полтора миллиона армян.

Толстой привлекал внимание авторов сборника лишь в очень небольшой степени. Чаще всего он выступал в роли, которая ему вообще постоянно отводилась и отводится в публицистике, — в качестве двойника, своеобразного сямского близнеца Достоевского; этому единому «Толстоевскому» приписывалась прежде всего ненависть к главному предмету обличения «Вех» — интеллигенции.<sup>2</sup> Н. А. Бердяев, впрочем, отметил, что если Достоевский был «величайшим русским метафизиком», то Толстой разделял свойственную интеллигенции «вражду к высшей философии».<sup>3</sup>

Станным образом составители сборника не заметили или не пожелали заметить одной из самых своеобразных и резких особенностей мировоззрения Толстого — решительного отрицания всякого национализма и даже патриотизма. Правда, статьи Толстого о патриотизме были изданы лишь за границей, а в России запрещены. Но авторы «Вех» были людьми европейски образованными, и им вполне доступна была литература, изданная за рубежом. Выступая прежде всего адептами «национальной идеи» и «государственности», осуждая интеллигенцию за непонимание всего величия этих идей, они упоминали «Чернышевского, старательно уничтожавшего самостоятельное значение национальной идеи»,<sup>4</sup> но совершенно умалчивали о позиции Толстого в этом вопросе.

<sup>1</sup> Там же. С. 93—94, 124.

<sup>2</sup> Там же. С. 84, 164.

<sup>3</sup> Там же. С. 17—18.

<sup>4</sup> Там же. С. 61.

Без достаточного основания авторы «Вех» включали в число своих единомышленников и Чехова. Цитируя слова Чехова: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, невоспитанную, ленивую...» — М. О. Гершензон не приводил его дальнейших слов: «Я верю в отдельных людей, я вижу спасение в отдельных личностях, разбросанных по России там и сяма — интеллигенты ли они или мужики — в них сила, хотя их и мало...»<sup>1</sup> Общего понятия «интеллигенции», которым все время оперировали авторы «Вех», у Чехова вообще не было.

Сборник «Вехи» вызвал оживленную полемику. Одним из оппонентов «Вех» был Д. Мережковский, бравший под защиту русскую интеллигенцию. Возражая авторам сборника, обвинявшим интеллигенцию в «безрелигиозности», Мережковский заявлял, что «освобождение», которого добивается интеллигенция, «если еще не есть, то будет религией».<sup>2</sup> Однако мировоззрение Мережковского было во многом близко мировоззрению «веховцев». Как и авторы сборника, Мережковский считал необходимым для интеллигенции «религиозное сознание»; признавал он и то, что П. Струве называл «мистикой государства».

В этом отношении позиция «веховцев» и Мережковского в равной степени противостояла позиции той весьма значительной части интеллигенции, которая, как Чехов (по его собственному признанию), утратила «свою веру» и смотрела «с недоумением... на всякого интеллигентного верующего».<sup>3</sup> Именно на таких позициях стоял один из наиболее последовательных критиков «Вех» — А. Пешехонов, для которого, как и для Чехова, существовала не интеллигенция вообще, а скорее люди, чье образование налагало на них определенные обязанности — учить школьников, лечить больных, двигать науку и т. д.: «Если интеллигенции не с чем сейчас идти к народу, то пусть она на его нуждах и потребностях сосредоточит хотя бы свое внимание: мысль не замедлит вскрыть, что от нее народу нужно. Да и сейчас много найдется, с чем можно и нужно идти к народу...»<sup>4</sup>

Как же отнесся к сборнику «Вехи» Лев Толстой? В апреле 1909 г. он получил этот сборник и с большим интересом прочел его, ибо предполагал найти там близкие ему идеи «о суеверии внешнего переустройства и необходимости внутренней работы каждого над собой». Но книга не только разочаровала, но и возмутила его. «Чего только там нет? И то, и то; а, наконец, не знаешь, чего они хотят», — отозвался о «Вехах» Толстой.<sup>5</sup> «Внутренняя работа над собой», которую предлагал Толстой, рассматривалась им не как политическое, а как личное дело каждого человека — она всецело основывалась на последовательном со-

<sup>1</sup> Чехов А. П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1964. Т. 12. С. 273—274.

<sup>2</sup> Мережковский Д. Семь смиренных // Речь. 1907. 28 апр.

<sup>3</sup> Чехов А. П. Собр. соч. Т. 12. С. 495.

<sup>4</sup> Пешехонов А. В. На очередные темы // Русское богатство. 1909. № 5. С. 131.

<sup>5</sup> Яснополянские записки Д. П. Маковицкого. Кн. 3. С. 388.

блюдении общечеловеческих нравственных законов, и прежде всего на Нагорной проповеди. Практически это означало полное отрицание всех государственных установлений. Но ни о чем подобном в «Вехах» не упоминалось. С. Булгаков призывал интеллигенцию уверовать в «мистическую жизнь церкви», но что это конкретно значило? Ходить в церковь, соблюдать обряды, заниматься богословием? О том, какие нравственные обязательства паллагались бы на интеллигенцию, если бы она «стала церковной», он ни словом не упоминал.

Почти сразу же после получения книги Толстой начал писать статью о ней, но не закончил ее и опубликовал лишь в форме газетного интервью.<sup>1</sup> Отталкивала его в «Вехах» как раз та черта, которая сближала составителей сборника с их оппонентом Д. Мережковским. И тот, и другие были прежде всего убеждены в колоссальной, решающей роли интеллигенции — отрицательной или положительной. «Худо ли это или хорошо, но судьбы России находятся в руках интеллигенции. . .», — писал Булгаков. «. . . Как высоко и значительно это историческое призвание интеллигенции, сколь огромна и устрашающа ее историческая ответственность перед будущим нашей страны, как ближайшим, так и отдаленным!».<sup>2</sup> Толстого возмущали такие рассуждения «об особой касте интеллигенции, выделяемой от всех остальных людей самими теми людьми, которые принадлежали к этой касте». Смешным казался ему и искусственный язык сборника — употребление «мудреных, выдуманных и не имеющих точного определенного значения слов». Обыгрывая этот кастовый язык, Толстой писал (на основе точных цитат из сборника), что «носителница судеб русского народа уверена в своем призвании. . . проведения в толщу стомиллионного народа своих инсценированных провокаций, изолирующих процессов абстракции и еще какой-то философии, которая есть орган сверхиндивидуальный и соборный, осуществляемый лишь на почве традиции, универсальной и национальной, или какой-то мистической церкви. . .»

Кастовым позициям авторов «Вех» Толстой противопоставлял рассуждения своего старого друга, крестьянина Сютаева, и письмо другого крестьянина, как раз в то время полученное им: «Надо не делать другим, чего себе не хочешь. . . Люди так заблудились, что думают, что другие народы, немцы, французы, китайцы — враги и что можно воевать с ними. . .» (38, 285—290).<sup>3</sup>

<sup>1</sup> *Спиро С.* Лев Толстой о «Вехах» // Русское слово. 1909. № 114, 21 мая. С. 2.

<sup>2</sup> Вехи. С. 26.

<sup>3</sup> Очевидные разногласия Толстого с «Вехами» — непризнание Толстым роли интеллигенции как двигателя истории и отрицание им всякой «национальной идеи» — остались незамеченными Н. Полторацким, утверждавшим, что спор писателя с «Вехами» был «большим идейным и историческим недоразумением» (см. статью «Лев Толстой и „Вехи“» в сб.: *Полторацкий Н.* Россия и революция. Русская религиозно-философская и национально-политическая мысль XX в. Tenaflly, N. J.: Эрмитаж, 1986. С. 74—102).

Смысл этого противопоставления понятен. Ни Сютяев, ни безымянный корреспондент Толстого не претендовали на определение исторических судеб России. Они решали нравственные вопросы для себя: «Все в тебе», — говорил Сютяев. Иной была позиция авторов «Вех». Им было свойственно отвергаемое Толстым «суеверие» устройства. Уверенные в том, что «судьбы России находятся в руках интеллигенции», они полагали, что, убедив своих собратьев-интеллигентов осознать национально-государственные и религиозные идеи, они исправят ошибки тех, кто «делал революцию» 1905 года, и изменят ход русской истории.

Именно в этом было главное разногласие Толстого с «Вехами». Тот же вопрос стал причиной полемики писателя с наиболее влиятельным из авторов сборника — П. Б. Струве.

### Толстой и историческое предвидение

Воспринимая «роевое» историческое движение и нравственные принципы как параллельные и несводимые воедино линии, Толстой, естественно, разграничивал предвидение реальной истории и свое мнение о том, что следует делать людям. Не только Наполеон, но и Столыпин, и революционеры, и философствующие интеллигенты были в его глазах мальчиками в карете, дергающими за тесемки и полагающими, что они движут ее вперед.

Но современники писателя видели в нем все-таки политическую фигуру: еретика, отлученного от церкви (еще в 1901 г.) и покушавшегося на устои государства, или, гораздо чаще, обличителя несправедливости и «учителя жизни».

Первые писали ему, что он «подлый лгун, лицемер, английский прихвостин, жидовский наймит», обрезание которого «в еврейство совершил некто г. Булатович» и который действует «под суфлерство жидов и масонов» (38, 331 и 578).

Вторые обращались к нему с извечным вопросом: «Что делать?»

«Что же делать?» — так и называлась статья, написанная Толстым уже после первой русской революции — в 1906 г. Он рассказывал там о своих беседах с людьми — и не только с рабочими, высланными из Москвы, но и, что особенно поразило его, с крестьянином-революционером: «Это был уже не безработный мастеровой, как те тысячи, которые ходят теперь по России, а это был крестьянин-земледелец, живущий в деревне». И все они задавали, как и их враги-консерваторы, один и тот же вопрос: «Что же делать?»

Что мог ответить на это Толстой? И в одноименной статье, и в многочисленных своих сочинениях тех же годов он фактически отвечал на другой вопрос: «Чего не делать?» Он объяснял, что люди не должны делать историю, ибо не могут быть убеждены, что их деяния вызовут ожидаемые ими последствия. Они не должны «во всяком случае посягать на свободу и жизнь друг

друга». Если же хоть часть людей отказалась бы от такого посягательства, «то чем больше было бы таких людей, тем меньше и меньше становилось бы зла на свете...» (36, 363—371).

Противоставляя «борьбе силою и вообще внешними проявлениями» борьбу «одной духовной силою» (36, 158), Толстой исходил из стремления, высказанного им еще в 90-х годах, — «верить в то, что человеку, а потому и человечеству, как собранию людей, стоит только захотеть, чтобы с корнем вырвать из себя зло» (52, 31). В этом можно обнаружить те элементы утопизма, которые противоречили всей историософии Толстого, но были широко восприняты его последователями.

Каким же образом возможно превратить индивидуальную волю человека в волю «человечества, как собрания людей»? В «Войне и мире» Толстой отвергал мнение историков, полагавших, что «Общественный договор» Руссо породил Французскую революцию. Но если проповедь Руссо не была причиной революции во Франции, то могла ли проповедь Толстого вызвать революцию в России — и вдобавок ту мирную, ненасильственную революцию, о которой мечтал писатель?

Проповедь Толстого имела широчайшее распространение, но последствия ее были совсем не такими, к каким он стремился. В феврале 1909 г. он признавался в записной книжке: «Главное же, в чем я ошибся, то, что любовь делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и т. д.» (57, 200), а в июне 1910 г. записал в дневнике: «Страшно сказать, но что же делать, если это так, а именно, что со всем желанием жить только для души, для Бога, перед многими и многими вопросами остаешься в сомнении, в нерешительности» (58, 65).

Налицо было действительно противоречие, но причина его лежала не в нелогичности рассуждений писателя, а в объективной действительности. Ход исторического развития определяется интегрированием бесчисленного множества «однородных влечений» людей, и изменить его не под силу ни одной человеческой личности, даже если эта личность — Лев Толстой. «Последствия наших поступков не в нашей власти. В нашей власти самые поступки наши», — написал Толстой в одной из своих последних статей (38, 94, 512). Тот же смысл имела и последняя запись в дневнике, сделанная уже на станции Астапово, за три дня до смерти: «Fais ce que doit, advieune que rougga» («Делай то, что должно; будет то, что может совершиться» — 58, 126).

Но этот взгляд, высказанный писателем во многих его сочинениях, начиная с «Войны и мира» и кончая последними статьями, все-таки остался непонятым. Не понял его и один из самых образованных критиков Толстого, специально занимавшийся вопросами социологии, — Петр Бернгардович Струве.

Для Струве, как и для прочих «веховцев», Толстой прежде всего — религиозный мыслитель, носитель «религиозного отце-

пенства от государства».<sup>1</sup> «Монизм» Толстого, по мнению Струве, в том, что он «загипнотизирован всецело должным, точнее тем, что должно развиваться по нравственному закону»; сторонники такого «монистического» понимания общественной жизни факту «ни в каком случае не желают подчиняться; к факту как таковому они в высшей степени непочтительны».<sup>2</sup>

Насколько несправедлива была такая характеристика взглядов писателя, видно уже из переписки о Толстом между А. И. Эртелем (автором известного романа «Гарденины») и В. Г. Чертковым, которая была тогда же опубликована и которой Струве посвятил особую статью. А. И. Эртель писал, что «Толстой липший раз и с необыкновенною силою вдвинул в общество сознание о Правде. . . Правда останется, и. . . сослужит свою великую службу. Л. Толстой потерпел фиаско в той части своей деятельности, которая задавалась целью создать и осуществить известный идеал, построить общество по образцу логических категорий. . . фиаско неизбежное, если учесть, что планы общественно-го устройства отнюдь не осуществляются одной теоретической работой мысли. . . а целой совокупностью общественных условий. . .» Чертков объяснял, что Толстой «не задавался никаким переустройством» и «отстранялся от всяких попыток в этом направлении». Когда Эртель заявлял, что жизнь людей видоизменяется «целою совокупностью исторических условий и сложных процессов общественного сознания», он, по словам Черткова, лишь повторил «одну из заветных мыслей Л<sup>с</sup>ва Н<sup>с</sup>иколаевича, выраженных в «Войне и мире» тогда, когда мало кто был с этим согласен. . .»<sup>3</sup>

Замечание Черткова — одного из немногих современников, с достаточным вниманием прочитавших исторические главы «Войны и мира», П. Б. Струве отвел с чрезвычайной легкостью, заметив, что толстовская идея исторической причинности есть «альфа и омега всякого исторического воззрения на жизнь обществ», есть «та же формула „исторического материализма“, только шире развернутая».<sup>4</sup> Казалось бы, отметив это, бывший легальный марксист и автор первой русской социал-демократической программы мог бы задуматься над тем, что же все-таки означала эта формула для Льва Толстого и чем она отличалась от тех концепций «исторического воззрения на жизнь обществ», которые были связаны с определенными программами общественного устройства. Он заметил бы тогда, что признание исторической необходимости было у Толстого более последовательным, чем у других мыслителей (и в частности, в историческом материализме), и исключало всякое «устройство» общества и утопизм. Струве, во всяком случае, должен был признать, что и

<sup>1</sup> Вехи. С. 162; ср.: *Struve P. B. Collected Works*. V. VIII, N 376. P. 133.

<sup>2</sup> *Struve P. B. Collected Works*. V. VIII, N 378. P. 117—118.

<sup>3</sup> Письма А. И. Эртеля / Под ред. и с предисл. М. Гершензона. М., 1909. С. 215—216, 222.

<sup>4</sup> *Struve P. B. Collected Works*. V. VIII, N 378. P. 117—118.

Толстой понимал, что общественная жизнь зависит от исторических условий, и не мог «непочтительно» относиться к историческим фактам.

Толстой читал переписку Эртеля, и ему было «неприятно» утверждение покойного о его «догматичной морали»; он прочитал также реплику Струве по этому поводу, найдя ее «глухой» (57, 70). Но Струве рассуждениями о переписке Эртеля не ограничился. В статье «Роковые противоречия», написанной в ответ на статью Толстого «Неизбежный переворот», он доказывал, что если Толстой призывает людей к моральному усовершенствованию, то ему не следует искать причину зла «в ложном и насильственном строе их жизни». Идея «внешнего переустройства жизни», к которому, по мнению Струве, склонялся Толстой, означала бы, что «великий переворот замены жизни насильнической жизнью мирной, любовной не только возможен, но и очень легок». По мнению самого же Струве, только признание того, «что люди живут дурно потому, что сами они дурны или плохи, соответствует религиозному пониманию жизни...» Другое же решение, «решение рационалистическое, несовместимо с религиозным пониманием жизни и роковым образом приводит к подмене задачи внутреннего совершенствования человека задачей внешнего устройства жизни...» «Люди... слабы. Когда я понял это... я перестал быть социалистом в обычном смысле, т. е. перестал верить в решающую силу „внешнего устройства“ человеческой жизни, на основе ли проповеди, или насилия», — писал он.<sup>1</sup>

Эти же мысли Струве, очевидно, развивал во время визита в Ясную Поляну летом 1909 г. Самым странным в его рассуждениях было то, что в них обоим полемистам приписывались роли, которых они никогда в жизни не играли: Толстому Струве приписывал не свойственную ему идею «внешнего устройства» жизни, а сам выступал в роли нравственно-религиозного проповедника. А между тем достаточно просмотреть статьи Струве, написанные в то же самое время, чтобы убедиться, что как раз он занимался в те годы «внешним устройением» жизни. Струве выступал за «национальный идеал и национальное сознание», за «великую Россию» (оговаривая, что представляет себе ее иначе, чем Столыпин), доказывал, что нет никакой опасности в патриотизме и национализме, но что национализм должен быть «открытым, завоевательным», «либеральным» и одновременно «консервативным империализмом», основанным на «органической гегемонии русской национальности». Струве заявлял, что «для инородческих племен России русская культура обладает гегемонией... в силу ее внутренней мощи и богатства». Он проповедовал «национальное русское чувство» и не советовал «хитрить с ним и прятать свое лицо». Он доказывал, наконец, что «Россия должна быть.

---

<sup>1</sup> Ibid. N 381. P. 216—220.

сильной для того», чтобы не возникла даже «тень» опасности нападения на нее.<sup>1</sup>

Гораздо труднее определить, в чем заключалось для Струве «религиозное понимание жизни». Для Толстого его «религиозное верование» означало полное отрицание насилия и, следовательно, предопределяло решительный и активный разрыв с государством и со всем обычным укладом; толстовцев арестовывали за отказ от военной службы, судили и ссылали. Толстого не арестовали, но лишь потому, что этому препятствовала его мировая слава. Но в чем выражалась религиозность Струве? В отличие от его соавтора по «Вехам», С. Булгакова, ставшего впоследствии священником, Струве был человеком сугубо светским, практическим политиком. В 1909 г. он считал еще «фантастическим» предположение о войне между Россией, Англией, Францией и Италией, с одной стороны, и Германией и Австро-Венгрией — с другой, но уже приветствовал сложившуюся к тому времени Антанту — спустя пять лет он занял активную позицию в войне, призывая к расширению границ, завоеванию проливов и т. д.<sup>2</sup> Конечно, Струве знал библейскую заповедь «не убий», знал Нагорную проповедь и идею непротивления злу насилием, но все эти заповеди он относил к некоему медленному и постепенному самовоспитанию человеческой личности; с его государственно-политическими идеями они никак не связывались.

Во время свидания в Ясной Поляне Толстой, не любивший устных споров, не стал, очевидно, возражать своему собеседнику; он лишь отметил в своем дневнике, что Струве был «мало интересен» и «тяжел» (57, 115). Именно поэтому Струве вынес из этой встречи «единственное сильное впечатление», что его собеседнику было нечего сказать, ибо «Толстой живет только мыслью о Боге, о своем приближении к нему. Телесно он одной ногой в могиле. . . Душевно и духовно он там. . .» Так именно написал Струве в некрологе Толстого, вспоминая их встречу за год до смерти писателя.<sup>3</sup>

Петр Бернгардович так и не узнал, по-видимому, что когда он писал этот некролог, в бумагах старика, которого он счел «ушедшим из жизни», лежал чрезвычайно острый полемический ответ на статью «Роковые противоречия», написанный в октябре 1909 г., но не законченный и не опубликованный. Толстой писал, что он прочел и перечел статью Струве, но «не мог даже понять, в чем г-н Струве видит противоречие» в его статье «Неизбежный переворот». Он действительно призывал к коренному изменению всего общественного строя, к «замене жизни насильнической жизнью мирной», но не исходил при этом из какого-либо кон-

---

<sup>1</sup> Ibid. N 372. P. 194—206; N 377. P. 380—383; N 387. P. 32—36; N 388. P. 42—46; N 399. P. 174—175; V. IX, N 409. P. 184—187; N 430. P. 380.

<sup>2</sup> Ibid. V. VIII, N 375. P. 196—199; V. XI, N 479. P. 178—180.

<sup>3</sup> Ibid. V. VIII, N 403. P. 130—132.

кретного плана общественного устройства — напротив, в статье «Неизбежный переворот» он признавал «удивительным суеверием» представление о том, что «одни люди не только могут, но и имеют право вперед определять и насильем устраивать жизнь других людей». Исходил же он из того, что уже «теперь... всякий человек, которого гонят на войну... знает, что те, против кого его гонят, такие же люди, как и он, так же обмануты своими правительствами... теперь же всякий рабочий считает правительство если не шайкой разбойников, то во всяком случае людьми, озабоченными своими интересами, а не интересами народа...» (38, 86—89). Толстой выражал в ответе Струве недоумение, почему тот приписывает ему взгляд на предстоящий переворот, как на «очень легкий», «и почему необходимо — как вероятно предполагает г-н Струве — непременно считать этот переворот не легким, но трудным?» (38, 338).

Спор шел, в сущности, о перспективах исторического развития России. На первый взгляд, политическая программа Струве казалась куда более реальной, чем взгляды, которые развивал Толстой. «Великая Россия», отстаивающая свои державные интересы, реформированная по образцу западных государств (германскому или англо-французскому) — все это, если еще не существовало, то, очевидно, начинало существовать. Рядом с этим толстовские идеалы — отказ от армии, от сложившихся государственных форм — казались явной утопией.

Но Толстой вовсе не хотел быть утопистом, как не хотел быть государственным реформатором. Никакой конкретной политической программы у него не было и быть не могло: он говорил не о том, что необходимо сделать, а о том, что соответствовало или не соответствовало нравственным принципам. Историческое движение было в его представлении стихийным массовым процессом, который ни он, ни какой-либо другой человек не мог по своему произволу изменить.

Это не значит, что Толстой был «пассивистом» — противником всякой общественной деятельности.<sup>1</sup> Он считал необходимым «бороться с правительством орудием мысли, слова, поступков жизни, не делая ему уступок, не вступая в его ряды, не увеличивая его силу» (53, 7), а если «нельзя у себя — за границей, как Герцен» (55, 255). Он помогал людям, отказывавшимся от военной службы, организовывал эмиграцию духоборов в Канаду, вместе с Короленко выступал против столыпинских казней.

Исторические прогнозы Толстого основывались не на том, что представлялось ему желательным, а на том, что он видел вокруг себя. Беседы с крестьянами и рабочими, о которых он писал в статье «Что же делать?», были его повседневным занятием.

---

<sup>1</sup> Так считал ряд авторов — от В. И. Ленина (Полн. собр. соч. Т. 48. С. 11—12) до американского исследователя В. Краснова (*Krasnov V. Wrestling with Lev Tolstoy. War, Peace and Revolution in A. Solzhenicyn's New August Chetyrnadsatso* // *Slavic Review*. 1986. V. 95, N 4. P. 708).

Он не пользовался еще системой нынешних социологических опросов, но ставил перед собой в значительной степени аналогичные задачи: пытался узнать мнения и настроения как можно большего числа людей. Такое общение приводило его к мысли, что столыпинское «успокоение» приведет к новой революции, ибо «сознание ненужности и преступности правительства будет делаться все яснее и яснее людям русского народа и сделается, наконец, то, что огромное большинство людей... не будет уже в состоянии повиноваться правительству...» (38, 168). Подыскивая название для статьи «Неизбежный переворот», Толстой думал и о таком его варианте: «Революция неизбежная, необходимая и всеобщая» (38, 509). В марте 1910 г. он писал: «Революция сделала в нашем русском народе то, что он вдруг увидел несправедливость своего положения. Это — сказка о царе и новом платье. Ребенком, к<sup>о</sup>торый» сказал то, что есть, что Ц<sup>а</sup>рь» голый, была революция. Появил<sup>о</sup>сь в народе сознание претерпеваемой им неправды... И вытравить это сознание уже нельзя» (58, 24). А в сентябре того же года, узнав об относительно мирной революции в Португалии, Толстой заметил: «У нас будет не португальская революция, если будет...»<sup>1</sup>

В своих наблюдениях Толстой не ограничивался только Россией. У него были корреспонденты во всем мире — в Европе, в Америке и в Азии — и среди них — Мохандас Карамчанд Ганди. Он мог убедиться в том, что народы отнюдь не жаждут того «открытого, завоевательного» национализма, который привлекал Струве в Британской империи, что в мире становится все больше людей, которые, как и в России, не желают, чтобы их гнали на войну, и не верят своим правительствам.

Спор между Толстым и Струве и подобными ему «консервативными либералами» был разрешен на практике. Прошло всего семь лет со дня смерти Толстого, и история показала, какой путь развития России оказался если не более «легким», то, во всяком случае, более реальным.

---

<sup>1</sup> Яснополянские записки Д. П. Маковицкого. Кн. 4. С. 360.

### III. РЕВОЛЮЦИЯ И ИДЕИ ТОЛСТОГО

В феврале 1917 года революция, о которой постоянно думал Толстой и которой не ожидал ни один из политических деятелей, совершилась.

Как же отнеслись к этой революции политики различных направлений? Ее приветствовали почти все, за самыми ничтожными исключениями. Струве и другие «веховцы» сразу же после революции стали издавать еженедельник «Русская свобода». В передовой статье Струве писал: «Произошло величайшее мировое событие. В кратчайший срок пал Николай Второй и в своем падении увлек за собой династию Романовых и Российскую монархию... Этот переворот, великий в своей быстроте и простоте, требует от нас действенного служения добру...» Ему вторил Бердяев: «...Русский народ доказал, что он великий народ и достоин великого будущего. На краю гибели, в положении безвыходном, совершил он самую бескровную и безболезненную из революций... И поразительно, как бесславно погибло старое, некогда священное царство — у него не нашлось ни одного рыцарского защитника...»<sup>1</sup>

Сходными настроениями был охвачен и другой современник — последний секретарь Толстого Валентин Булгаков. Он писал о солдатах, примкнувших к революции: «...солдатами толпа прямо любитесь. Любуюсь и я. Не впервые ли народ глядел на этих серых людей как на братьев своих?.. Но сегодня это чувство близости и единства охватило, несомненно, всех...» Булгаков зашел к Мережковским. «— А, вот посол Льва Николаевича! — приветствовали меня. — Ну что, каковы ваши впечатления от всего происходящего? — Да самые хорошие! Я, хоть и „толстовец“, а все хожу и радуюсь... — А вы не боитесь, что немцы придут? — обратился ко мне с вопросом Д. С. Мережковский. — Нет, не боюсь. — Ах, ведь вы, „толстовцы“, ангелы... Ангелы!»<sup>2</sup>

Вопрос о войне не был случаен. Именно этот вопрос вскоре разделил русскую интеллигенцию на различные, противостоящие друг другу течения. Безусловными противниками войны были

<sup>1</sup> Русская Свобода. 1917. N 1. С. 1—5, 6—7.

<sup>2</sup> Булгаков Вал. Революция на автомобилях. (Петроград в феврале 1917 г.) // На чужой стороне. 1924. № 6. С. 15, 25—26.

толстовцы. Уже в сентябре 1914 г. В. Ф. Булгаков составил воззвание «Опомнитесь, люди-братья»: «Совершается страшное дело. Сотни тысяч, миллионы людей, как звери, набросились друг на друга... Весь образованный мир, в лице представителей всех умственных течений... дошел до такого невероятного ослепления, что называет эту ужасную человеческую бойню „священной“, „освободительной“ войной... Мечтают о разоружении, которое будто бы принесет война. Братья, не верьте этому! Ведь разоружить народы — значит для современных правительств то же самое, что уничтожить самих себя, потому что эти правительства держатся только благодаря государственному насилию... Как же они могут отбросить свою единственную опору — солдатский штык?!... Наши враги — не немцы, а для немцев враги не русские и не французы. Общий враг для всех нас... — это зверь в нас самих».<sup>1</sup> Воззвание было подписано также Д. Маковицким, И. Трегубовым и другими. За составление и распространение этого воззвания Булгаков спустя месяц был арестован в Ясной Поляне. Толстовцы, уклонявшиеся от военной службы, подвергались более жестоким наказаниям, чем до войны.

Левые социалистические течения также были против войны, но призывали к «миру без аннексий и контрибуций», считая неизбежным продолжение военных действий до тех пор, пока не удастся этот мир заключить (особой, как увидим, была позиция большевиков).

Представители религиозно-философского направления в интеллигенции, те, кого В. Ф. Булгаков именовал «соловьевцами» (последователями В. С. Соловьева), стояли за войну до победы. «Ныне разразилась, наконец, давно жданная мировая борьба славянской и германской расы», — писал Н. Бердяев еще в 1915 году. «Славянская раса, во главе которой стоит Россия... идет на смену другим расам, уже сыгравшим свою роль... это — раса будущего».<sup>2</sup> Более сложной была позиция Д. Мережковского. Он отвергал «национальную гордыню» веховцев,<sup>3</sup> но и сам призывал к победе «великой армии русского народа».<sup>4</sup> Антивоенные настроения, все более усиливавшиеся в течение 1917 года, чрезвычайно беспокоили Бердяева и его единомышленников. И в журнальных статьях, и в особой брошюре Бердяев выступал против «бессмысленной фразы» «без аннексий и контрибуций» и доказывал, что «притязания великих национальностей, создавших великие государства и культуры, на государственное и культурное преобладание должны быть фактически признаны... как источник излучения света для малых и слабых... Колонии чувствуют неразрывную связь с Англией и любят ее...» В России также «реальный вес великоросса иной, чем белорусса, грузина

<sup>1</sup> *Булгаков Вал.* Опомнитесь, люди-братья! М., 1922. С. 36.

<sup>2</sup> *Бердяев Н.* Душа России. Л., 1990. С. 19.

<sup>3</sup> *Мережковский Д. С.* Невоенный дневник. Пг., 1917. С. 200—204.

<sup>4</sup> *Мережковский Д. С.* Завет Белинского. [Б. м., б. г.]. С. 42—43.

или татарина... Украинское национальное самоопределение всегда было по природе своей не в меру раздутым провинциализмом... Мечтательный... интернационализм... обрекает нас на одинокий позор. Да не будет этого, да восстанет против этого русский народ, который спасал Россию в смутную эпоху и в Отечественную войну...»<sup>1</sup>

Он не восстал, а если и восстал, то совсем не так, как хотелось Бердяеву. К власти пришли не «мечтательные интернационалисты», призывавшие к «миру без аннексий и контрибуций», а большевики, выступавшие за поражение страны и «превращение империалистической войны в гражданскую».

К концу 1917 года перестала существовать регулярная армия, разрушен был прежний государственный и судебный аппарат.

Дальнейшие последствия этих событий были еще неизвестны современникам. Им бросалась в глаза прежде всего наступившая анархия, ассоциировавшаяся в их представлениях с толстовским анархизмом. Они не могли предвидеть, что люди, возглавившие большевистскую революцию, окажутся способными восстановить в ходе гражданской войны почти всю территорию Российской империи и создадут новую государственность — более могущественную, чем прежняя. Государство это сможет уничтожить не только господствующие классы старой России, но и тот класс, представителем которого считал себя Толстой, — крестьянство.

Но все это было еще впереди. Однако и то, что произошло к концу 1917 года, требовало осмысления. Оно, естественно, было разным у различных групп интеллигенции.

### Представители религиозно-философского направления против Льва Толстого

Восторг «веховцев» перед русской революцией сменился разочарованием. В 1918 г. ими был составлен и даже доведен до коректуры новый сборник под заглавием «Из глубины», вышедший в свет в 1921 г., но почти не получивший распространения.

Именно в сборнике «Из глубины» его предшественник, сборник 1909 г., был объявлен «призывом и предостережением»<sup>2</sup> и «Вехам» приписывалась та пророческая роль, которую усматривают в этой книге многие нынешние авторы. Едва ли это справедливо: как мы видели, ни о какой будущей революции в «Вехах» не говорилось — внимание авторов было обращено к революции 1905 года и ее неудаче. Претензии на пророчество основывались, очевидно, на том, что авторы писали тогда о зловерной роли безнациональной и безрелигиозной русской интел-

<sup>1</sup> Бердяев Н. 1) Интернационализм, национализм и империализм. Пг., 1917. С. 15—27; 2) Положение России в мире // Русская Свобода, 1967. № 5. С. 11.

<sup>2</sup> Из глубины. Сб. статей о русской революции. YMCA-PRESS, 1967. С. 25.

лигенции; их не послушались, — из-за этого, по убеждению авторов сборника «Из глубины», и произошла новая революция.

Таким образом, «веховцы» и в 1918 г., как и десять лет до этого, были уверены в огромной, титанической роли русской интеллигенции как в «создании», так и в «разрушении» государства. Правда, к этому присоединилось теперь и осуждение русского народа: «...прославленный за свою преданность народ настолько показал свой реальный нравственный облик, что это надолго отобьет охоту к народническому обоготворению низших классов». Но народ все-таки только «исполнитель», орудие в руках какого-либо «направляющего и вдохновляющего меньшинства».<sup>1</sup> Ответственность за революцию поэтому должна быть возложена на образованное меньшинство.

Однако наряду с безнациональной интеллигенцией к этому меньшинству была отнесена в сборнике еще одна фигура, названная в статье Н. А. Бердяева «Духи русской революции» (напечатанной в 1918 г. не только в сборнике, но и отдельной журнальной статьей). Речь шла о Льве Толстом.

«Русская революция являет собой своеобразное торжество толстовства...» — писал Бердяев. «Толстой был злым гением России, соблазнителем ее... Мировая война проиграна Россией потому, что в ней возобладала толстовская моральная оценка войны... Это Толстой сделал нравственно невозможным существование Великой России... Необходимо освободиться от Толстого как от нравственного учителя. Преодоление толстовства есть духовное возрождение России...»<sup>2</sup>

Бердяев был не одинок. Сходные мысли высказывал тогда же прежний критик «Вех» — Д. С. Мережковский. В статье «Толстой и большевики», написанной во время гражданской войны и помещенной в сборнике «Царство Антихриста», Мережковский ставил вопрос: «С кем Толстой» — с белыми или с красными? «Толстой не с нами...» — заявлял он. «...Отрицание насилия отделяет Толстого от большевиков и от нас в одинаковой степени. Вопрос в мере: у большевиков насилие безмерное, а мы его умеряем... Ближе всего большевизм Толстому в эстетике и метафизике... Воля к дикости, воля к безличности... Большевизм — самоубийство Европы. Начал его Толстой, кончает Ленин... Русский большевизм — толстовское чистилище...»<sup>3</sup>

Заметим, что такую враждебность к Толстому обнаруживали не ретрограды, обличавшие его при жизни, а люди, выступавшие до революции как противники самодержавия. Чем же это объяснялось?

При всех расхождениях Мережковского с «веховцами» их сближала, как мы уже отмечали, вера в решающую роль в исто-

<sup>1</sup> Там же. С. 185, 251, 314.

<sup>2</sup> Там же. С. 96—102. Ср.: Бердяев Н. Духи русской революции. Рига, 1990. С. 24—28.

<sup>3</sup> Царство Антихриста. München, 1921. С. 191—198.

рии идей и их носителей — интеллигентов. Идеи эти существуют как бы изначально, и их нужно лишь правильно понять и внушить народу. «Русская национальная мысль чувствует потребность и долг разгадать загадку России, понять идею России, определить ее задачу и место в мире. Все чувствуют в нынешний мировой день, что Россия стоит перед великими и мировыми задачами... Не может человек всю жизнь чувствовать какое-то особенное и великое призвание... если человек ни к чему значительному не призван и не предназначен. Это биологически невозможно. Невозможно и в жизни целого народа...» — писал Бердяев в 1915 г.,<sup>1</sup> а в книге «Русская идея», подводящей итоги его размышлений о России, он даже приписывал эту идею Богу, Создателю Вселенной: «Что замыслил Творец о России?» — спрашивал он.<sup>2</sup> Таким же воплощением мировых идей — борьбы Христа с Антихристом — считал историю и Мережковский.

Исторические взгляды Толстого, его представление об историческом процессе как о «бессознательной, общей, роевой жизни человечества», зависящей от взаимодействия «однородных влечений людей», совершенно не принимались во внимание его обличителями. Для них он был только проповедником губительного «непротivления злу». Отсюда и странные упреки Бердяева Толстому в том, что он «отвергал историю» и учил «элементарно и упрощенно морализировать над историей и переносить на историческую жизнь моральные категории жизни индивидуальной».<sup>3</sup> Никогда Толстой не «морализировал» над историей. Он отвергал лишь бессмысленное преклонение историков и писателей перед деяниями «великих людей», не отвечавшими самым простым нормам человеческой морали. Высокие нравственные требования он предъявлял не истории, а конкретным людям, в том числе и государственным деятелям. Считая исторический процесс закономерным и не зависящим от воли отдельных лиц, Толстой отвергал всякое «суеверие устроительства» — как социалистическое, так и государственно-националистическое. Оппонентам его такое «суеверие устроительства» было весьма свойственно. Еще осенью 1917 г., до того как П. Б. Струве собрал сборник «Из глубины», он принимал в Ростове участие в создании Добровольческой армии. В 1920 г. он стал министром иностранных дел врангелевского правительства. Д. С. Мережковский вместе с Д. В. Философовым и З. Н. Гиппиус во время русско-польской войны 1920 г. помогали формированию русских отрядов Савинкова и Булак-Балаховича в армии Пилсудского.

Деятельность эта окончилась неудачей. Утверждая, что в русской революции нет «созидательных потенций», Струве еще в 1918 г. писал, что она «жалко неспособна и бессильна создать

<sup>1</sup> Бердяев Николай. Душа России. Л., 1990. С. 3.

<sup>2</sup> Бердяев Н. Русская идея. YMCA-PRESS, 1971. С. 5.

<sup>3</sup> Из глубины. С. 99; ср.: Бердяев Н. Духи русской революции. С. 25—

даже красную армию».<sup>1</sup> Предсказание это, как и многие другие, не оправдалось. Красная армия была создана, и она одержала победу над белыми. Струве и Мережковские оказались за пределами России; в 1922 г. за границу были высланы Н. Бердяев, С. Булгаков и С. Франк.

После окончания гражданской войны обличения Толстого как будто потеряли свою актуальность. В. А. Маклаков в юбилейной речи по поводу десятилетия смерти писателя заметил: «...говорить о каком бы то ни было сходстве между учением Толстого и большевиков значит ничего не понимать в этом учении... Мы все стоим по разным концам баррикады, но мы стоим по одну сторону не с Толстым, а с *большевиками*... Мы, противники большевиков, как и они сами, признаем, что бывают эпохи, когда *насилие необходимо*... Возьмите консервативные партии. Разве не говорили они, как Столыпин, когда им указывали на случайность, жестокость, несправедливость репрессий, что „когда горит дом, бьют стекла“...» А если это так, то Толстой «сказал бы нам... что *не нам* осуждать большевиков...»<sup>2</sup>

Тем не менее и после 1921 г. в среде эмигрантов нашлись люди, склонные возлагать вину за революцию на Льва Толстого.<sup>3</sup> Одним из наиболее стойких защитников этой идеи оказался И. А. Ильин, высланный в 1922 г. из России вместе с другими представителями оппозиционной интеллигенции. В 1925 г. он сделал в Праге, Берлине и Париже ряд докладов, содержание которых было изложено им в газетной статье «Идея Корнилова». В этой статье он писал: «Одна из причин той великой беды, которая постигла нашу родину, состоит в неверном строении русского характера и русской идеологии». Порок ее — «сентиментальность». «И вот в своеобразном сочетании безвольной сентиментальности, духовного нигилизма и морального педантизма возникло и окрепло зловерное учение графа Л. Н. Толстого „о непротивлении злу силою“; учение, которое более или менее успело отравить сердца нескольких поколений в России и... ослабило их силы в деле борьбы со злодеями... Соблазненные этим голосом сентиментальной морали, люди... хоронились по щелкам в час гибели родины. И опомнились тогда, когда дыхание гибели объяло их жизнь от края до края... В поисках умудрения предпринял я написать исследование о сопротивлении злу силою с тем, чтобы... перевернуть раз навсегда „толстовскую“ страницу русской нигилистической морали и восстановить древнее русское православное учение о мече во всей его силе и славе...»<sup>4</sup>

В том же году была опубликована и книга Ильина «О сопротивлении злу силою», посвященная «русскому Христоролюбивому

<sup>1</sup> Из глубины. С. 301.

<sup>2</sup> Маклаков В. А. Толстой и большевизм. Речь. Париж, 1921. С. 6—9.

<sup>3</sup> В 1921 г. с осуждением толстовского «непротивления злу» как «пустительства большевизму» выступил М. Горелов (*Горелов М.* На реках Вавилонских // Новый журнал. Нью-Йорк, 1991. Кн. 183. С. 169).

<sup>4</sup> Ильин И. Идея Корнилова // Возрождение. 1925. 17 июня, № 15.

Воинству» и его «Вождям». Почти с первой же страницы автор называет важнейший предмет своей полемики: «Граф Толстой, его сподвижники и ученики». Но никакого спора с Толстым в книге, в сущности, нет. Историческими воззрениями Толстого Ильин не интересовался; он отвергал именно этику Толстого. Но в основе толстовской этики лежал, как мы знаем, принцип: «Не делай другим того, чего не хочешь, чтобы тебе делали», — и конкретное раскрытие этого принципа в Десятословии и в Нагорной проповеди. Этих посылок Ильин не рассматривал: понятия «добра» и «зла» в его трактате никак не раскрывались, они принимались как самоочевидные. Толстовскому евангельскому христианству Ильин противопоставлял христианство официально-церковное, ссылаясь на Правила Св. Апостолов и Св. Соборов, на отцов церкви и т. д. — т. е. на авторитеты, заведомо для Толстого неприемлемые. Автор не опровергал Толстого, а обличал его: в отвержении всех «оформленных правом установлений» — земельной собственности, воинской повинности, в отрицании «родины, ее бытия, государственной формы и необходимости ее обороны», в провозглашении «морального братства», которое «объемлет всех людей без различия расы и национальности и, тем более, независимо от их государственной принадлежности»: «И в результате этого его учение оказывается разновидностью правового, государственного и патриотического нигилизма... И в результате этого все понимание человека, добра и зла становится мелким, плоским и бездуховным...» «Идее любви», выдвинутой Толстым и страдающей «не только чертами наслажденчества, безволия, сентиментальности, эгоцентризма и противообщественности», но и «противодуховностью», Ильин противопоставлял свое понимание «видоизменений любви», проходящей через 25 «классических состояний» — от «возможно полной любви к человеку» и до молитвы «за казненного злодея»: «Таково в постепенно нарастающей последовательности: неодобрение, несочувствие, огорчение, разговор, осуждение, отказ в содействии, протест, обличение, требование, настойчивость, психическое понуждение, признание психических страданий, строгость, суровость, негодование, гнев, разрыв в общении, бойкот, физическое понуждение, отвращение, неуважение, невозможность войти в положение, пресечение, безжалостность, казнь».<sup>1</sup>

Книга Ильина вызвала возражения не только со стороны заведомых противников «белой идеи», но и со стороны представителей ортодоксально-православной и патриотической интеллигенции. Наиболее резкими были ответные статьи З. Гиппиус и Н. Бердяева. «Не имея необходимого духовного критерия, чтобы различить и определить зло как зло, Ильин не имеет возможности вскрыть внутреннее зло коммунизма... О подлинной же борьбе какая может быть речь без твердого ясного распознава-

<sup>1</sup> Ильин И. А. О сопротивлении злу силою. Берлин, 1925 (2-е изд.: Лондон, Канада. 1975). С. 5, 9, 84—90, 139—140.

вия зла?» — писала Гиппиус. В этом, по ее словам, «роковая безысходность борьбы Ильина с коммунизмом»: «Противники — обратно-подобные во всем: в духе, в центральных своих идеях. . . уже не обратно, а прямо подобные в выборе орудий и средств для „победы“». Отметив, что на многих страницах Ильин занимается борьбой с Толстым, Гиппиус показывала, что приведенные Ильиным 25 правил «видоизменений любви» вполне могли бы быть применены им к Толстому: «. . . Живи Толстой не при Николае II, а при Ильине — просьба „накинуть мыльную веревку на его старое тело“ не осталась бы втуне. . . Гротеск? Ильин вряд ли захочет признать свои теории заведомо-отвлеченными, а не захочет — как же уклоняться от признания, что да, казнь Толстого является последовательно-обязательной? . . . Ведь „ни прощение, ни снисхождение, ни измена теории — недопустимы“ . . . А так как, по всем вероятностям, Толстого не смутили бы никакие предварительные меры, даже „причинение психических страданий“, то вывод для отрицательно-любящего ясен: пусть повисит старичок, а мы помолимся. . .»<sup>1</sup> Как и Гиппиус, Бердяев отмечал отсутствие в книге Ильина ясного определения понятий «зла» и «добра»: «Его могут спросить, оправдывается ли с его точки зрения тираноубийство и цареубийство, которое оправдывал святой Фома Аквинат, оправдывается ли революционное восстание, как сопротивление силой власти, ставшей орудием зла и разлагающейся? Отвлеченно-формальный характер исследования Ильина не дает никаких оснований отрицать право на насильственную революцию, если она вызвана злом старой жизни. Между тем как книга Ильина хочет бороться против духа революции, в этом ее пафос. Или Ильин думает, что всякая власть, всякий государственный строй, установившийся и сложившийся, есть носитель абсолютного добра? Или думает, что носителем добра является только монархия? Но это последнее утверждение. . . ниоткуда не вытекает. . .» Излишней представлялась Бердяеву и «критика Толстого и толстовства» в книге Ильина: «. . . Толстовство не играет никакой роли в наши дни, оно не владеет душами современных людей и не направляет их жизни. Весь характер нашей эпохи вполне антитолстовский. . . Непонятно, против кого восстал Ильин, если не считать кучки толстовцев, потерявших всякое значение, да и никогда его не имевших. . .»<sup>2</sup> Бердяев не замечал, однако, что последнее возражение можно было обратить против его собственных антитолстовских выступлений 1918 года. Толстовство едва ли больше владело душами людей в 1917 году, чем в 1925 году. Ни большевики, ни солдаты, не желавшие воевать, не исходили из этических воззрений Толстого; двигали ими совсем иные побуждения. О подлинных настроениях солдат в 1917 году рассказывала дочь Толстого Александра Львовна, служившая в сани-

<sup>1</sup> Гиппиус З. Меч и крест // Современные записки. 1926. Кн. XXVII. С. 351—352, 366—367.

<sup>2</sup> Бердяев Н. А. Кошмар злого добра. (О книге И. Ильина «О сопротивлении злу силой») // Путь. 1926. Июнь—июль, № 4. С. 105—106.

тарном отряде во время войны. Она описывала озлобленность и растерянность солдат, бегство санитаров, бросавших на произвол судьбы раненых. «Где же правда?» — спрашивал ее контуженый солдат. «Фельдшер в перевязочной говорит: „Довольно с немцами воевали, вали, ребята, в тыл воевать с буржуями, у помещиков землю, у фабрикантов фабрики отбирать.“ А взводный наш: „сволочь, говорит — вы все, труссы, родину немцу продаете. Долг солдата за Россию до победного конца стоять“. Где же она, правда?»<sup>1</sup> Все это мало похоже на толстовство. Так следовало ли считать Толстого «злым гением России» и возлагать на него ответственность за проигранную войну?<sup>2</sup>

Вопрос об идеях Толстого не был главным предметом этой полемики — он затрагивался лишь попутно. В своем ответе Ильину Бердяев писал, что «вопрос совсем не в том, оправдан ли меч и действие силой, а в том, что есть добро и что зло в эпоху мирового кризиса, эпоху конца старого мира, „новой истории“ и рождения новых миров». «Если кто-то отрицает белое движение, то не потому, что не допускает действие силой и мечом, а потому, что не верит в реальность белого движения. . . Я, например, никогда не был толстовцем и непротивленцем. . . хотя не верю в белое движение по разнообразным соображениям. . .»<sup>3</sup> К 1926 году, когда Бердяев писал эти слова, его мировоззрение претерпело значительную эволюцию. «Революция есть огромный и поучительный опыт. . . Я. . . принадлежал всю мою жизнь к противникам капиталистической цивилизации XIX и XX века. . . Капиталистическая цивилизация есть обоготворение земного царства. . . Бур-

<sup>1</sup> Толстая Александра. Проблески во тьме. Вашингтон, 1965. С. 9.

<sup>2</sup> В споре вокруг книги Ильина приняли участие еще ряд авторов — Ф. А. Стецун, В. В. Зеньковский, Н. Лосский и др. Газетная статья И. Демидова, напомнившего в связи с идеей «христанского меча» о крестовых походах, побудила П. Б. Струве взять под защиту Ильина. Струве посоветовал Демидову не рассуждать о давних крестовых походах, а обратиться к учебнику Иловайского и вспомнить о святом Сергии Радонежском, благословившем меч Дмитрия Донского (*Демидов И.* 1) Творимая легенда // Последние новости. 1925. 25 июня; 2) Путь ученичества // Там же. 2 июля; *Струве П. Б.* Дневник политика // Возрождение. 1925. 25 июня; ср.: *Полторацкий Н. И.* А. Ильин и полемика вокруг его идей о сопротивлении злу силой // Ильин И. А. О сопротивлении злу силой. С. 230—266). Ссылка на Сергия Радонежского занимала важное место и в построениях самого Ильина. Курьезная сторона этой полемики заключалась в том, что ни один из ее участников, включая такого авторитетного ученого, как Струве, не выходил в этом вопросе за пределы учебника Иловайского. А между тем наиболее ранний из известных нам источников по истории Куликовской битвы — Троицкий летопись совершенно не упоминала о какой-либо роли Сергия в войне с Мамаем, хотя самому Сергию она уделяла значительное внимание. Упоминание о благословении Сергием Дмитрием Донским появилось в источниках (Житие Сергия и Новгородско-Софийский летописный свод) лишь полвека спустя, а подробный рассказ о его участии и посылке им двух иноков-воинов (Сказание о Мамаевом побоище) — более чем через 100 лет после битвы (ср.: *Кучкин В. А.* Победа на Куликовском поле // Вопросы истории. 1980. № 8. С. 7; Живая вода Непрядвы / Сост. А. И. Плигузов. М., 1988. С. 625—626).

<sup>3</sup> Путь. № 4. С. 105—106, 116.

жуазный капиталистический мир новой истории кончился и рождается новый мир...» — писал Бердяев в «Дневнике философа», помещенном в том же сборнике, где содержался его ответ Ильину. «Легитимность исторической монархии так же изжита, как и легитимность демократии... Это подтверждается на примере фашизма. И в России должен возникнуть своеобразный фашизм, мало общего имеющий с право-монархическими направлениями...»<sup>1</sup> Эти же мысли были высказаны им в написанном в 1924 г. трактате «Новое средневековье».

Новые идеи, возникшие у Бердяева в эти годы, могли бы как будто сблизить его с Толстым, тоже ведь противником «капиталистической цивилизации». Но разделяло их главное — неизлечимая склонность философа к «суеверию устроительства». Отвергнув монархию и демократию, Бердяев все же оставался государственнымником и искал каких-то новых — демократических и не монархических — форм власти. Формы эти определялись им самим как «фашизм» — в 20-х годах, очевидно, фашизм итальянского образца (Гитлер не стал еще значительной фигурой). Впрочем, понятие это имело для Бердяева и более широкий смысл: отрицая демократию как «формальную» и фиктивную, он готов был предпочесть ей и «западный», и «восточный (советский)» фашизм. Вот что писал об этом Г. Федотов: «В двух практических и важных пунктах Бердяев расходится с современной демократией и приближается к фашизму в его русской или западной форме. Во-первых, в своем отказе от экономической свободы... Тем самым он лишает всякой независимости и хозяйственного интереса и крестьянство, и ремесленников, включая и „свободные“ профессии, делая государство ничем не ограниченным властелином их судьбы... Если в полном отрицании экономической свободы Бердяев приближается к коммунизму, то в корпоративной организации государства он разделяет принципы и восточного (советского), и западного фашизма... При современном утилитаризме, особенно в связи с уничтожением многопартийности, корпоративная система делается политической основой для тирании...»<sup>2</sup>

Таких колебаний, какие были у Бердяева, не испытывали ни Струве, ни Мережковский. Для них советский коммунизм оставался наибольшим злом; Муссолини был явно предпочтительнее (Мережковский даже ездил к нему на свидание).<sup>3</sup> Струве и Мережковский вступили в полемику с Бердяевым.<sup>4</sup>

1930-е годы внесли раскол в ряды русской эмиграции. После прихода Гитлера к власти в Германии и особенно с начала гражданской войны в Испании эмиграция резко разделилась на два

<sup>1</sup> Там же. С. 179.

<sup>2</sup> Федотов Г. П. Новый град. Нью-Йорк, 1925. С. 312—313.

<sup>3</sup> Pipes R. Struve. Liberal on the Right. 1905—1944. Harvard University Press, 1980. P. 413; Седых Андрей. Далекие, близкие. Нью-Йорк, 1979. С. 211.

<sup>4</sup> Pipes R. Struve. P. 359—366; Бердяев Николай. Самопознание (опыт философской автобиографии). 2-е изд. YMCA-PRESS. 1949—1983.

направления: на непреклонных противников большевизма, считающих, что даже Гитлер лучше советской власти, и на сторонников западного антифашистского движения, сблизившихся с коммунистами и мечтавших о возвращении в СССР. К числу последних принадлежали, например, М. Цветаева и ее муж С. Эфрон (последний даже вступил в связь с советской разведкой и участвовал в ее террористической деятельности). Напротив, Струве и Мережковские продолжали считать большевизм (Сталина) врагом № 1 и надеялись, что Гитлер может сыграть конструктивную роль в борьбе с коммунизмом. Нападение Гитлера на Советский Союз внесло еще большую сумятицу в сознание националистически настроенных эмигрантов. Некоторые из них сотрудничали с Гитлером. В январе 1944 г. коллаборационистская русская газета «Парижский вестник», выходящая под германской оккупацией, посмертно опубликовала статью Д. Мережковского, восхвалявшую «геройский подвиг», взятый на себя Германией «в святом крестовом походе против большевизма». Статья была напечатана с согласия З. Гиппиус, признававшей, что «в тесном союзе с Германией, под водительством ее Великого Фюрера, будет наша родина спасена от иудо-большевизма».<sup>1</sup> Однако Бердяев, а впоследствии и Струве, признали Красную армию русской «национальной армией».<sup>2</sup>

Вопрос о Толстом и роли толстовских идей в поражении России в первой мировой войне как-то совсем отошел в сторону в ходе этих событий. К успехам и поражениям немецкой и советской армий толстовская моральная оценка войны явно не имела никакого отношения; никаких признаков толстовства ни у той, ни у другой стороны не найдет ни один наблюдатель.

Представление о Толстом как о «злом гении России» возникло, как уже было отмечено, в связи с тем, что разрушение армии и государственного аппарата в конце 1917—начале 1918 г. связывалось в представлениях его критиков с антивоенными и противогосударственными высказываниями Толстого. Какова же была действительная связь между этими явлениями?

Считая исторический процесс закономерным и не зависящим от воли отдельных людей, Толстой, говоря о будущем, основывался не на каких-либо предвзятых идеях, а на своих наблюдениях над настроениями многочисленных собеседников и корреспондентов. Станным поэтому выглядит утверждение Бердяева в 1918 г., что «в Толстом нет ничего пророческого, он ничего не предчувствовал и не предсказывал».<sup>3</sup> Именно Толстой (а не его

<sup>1</sup> *Pipes R. Struve*. P. 414—418; Парижский вестник. 1944. № 81, 8 янв. С. 5—6. Эмигрантский писатель Дон Аминадо писал о выступлениях Мережковского по микрофонам «германского штаба» (*Дон Аминадо. Поезд на третьем пути*. М., 1991. С. 301). Ср.: *Вишняк М. В.* «Современные записки». Воспоминания редактора. Indiana University Publications, 1957. С. 226—227.

<sup>2</sup> *Pipes R. Struve*. P. 433—438; *Бердяев Н.* Самопознание. С. 386—387.

<sup>3</sup> Из глубины. С. 95; *Бердяев Н.* Духи русской революции. С. 24.

оппоненты) предсказал в 1909—1910 гг. «революцию неизбежную, необходимую и всеобщую».

Отразилось ли на его воззрениях «страшное недовольство в темном народе», которое ощущал Толстой в первое десятилетие XX века? Очевидно, отразилось. Ни один человек, даже самый великий, не живет вне своего времени.

Связи Толстого с окружающим миром и особенно с различными слоями русского общества были после 1905 г. обширными и многообразными. «Мы, русские, теперь в огромном большинстве своем, всем существом своим сознаем и чувствуем, что все государственное устройство, которое держит, угнетает и развращает нас, не только не нужно нам, но есть нечто враждебное, отвратительное и совершенно лишнее. . . Русский народ, настоящий русский народ, вследствие совершенных и совершаемых над ним преступлений потерял не только уважение к своему правительству, но и веру в необходимость какого бы то ни было правительства. . .» (36, 165).

Здесь уместно, очевидно, вспомнить сочинение, в течение долгого времени бывшее излюбленным и обязательным пособием к толкованию взглядов Толстого, а ныне, как и многие другие, отброшенное за ненадобностью. Речь идет об известной статье Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции».

Ленин до революции не считался глубоким теоретиком даже в своей марксистской среде. Он был не философ, а прежде всего тактик; его занимало лишь то, что может благоприятствовать (или препятствовать) грядущей революции. Философии истории Толстого он, как и другие авторы, не уделял никакого внимания. Его интересовали только общественный смысл толстовского творчества, та роль, которую могли играть сочинения писателя в борьбе с царской властью. Идеологию какого класса отражал Толстой? Стремясь ответить на этот обязательный в марксистской философии вопрос, Ленин колебался между двумя путями решения: наиболее простым, анкетным способом, при котором учитывается классовая принадлежность писателя, и более серьезным, указанным самим Марксом, — установлением степени близости взглядов исследуемого автора с насущными потребностями того или иного класса. К первому пути Ленин прибегал при характеристике декабристов: он считал их дворянскими революционерами, хотя идеология большинства из них (отрицание крепостного права и самодержавия) вовсе не соответствовала стремлениям основной массы дворянства. Первая тенденция отразилась в ленинской характеристике Толстого как «помещика, юродствующего Христа»; вторая — в объявлении его идеологом «патриархального крестьянства». Именно эта «патриархальность» и привидела, по словам Ленина, к недостаточной активности крестьянства в революции 1905 г. Толстовское «непротивление злу» Ленин считал «серьезнейшей причиной поражения первой русской революционной кампании».<sup>1</sup> Если Бердяев, Мережковский и Ильин:

<sup>1</sup> Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 17. С. 206—213.

объявляли толстовское «непротivление злу» причиной победы большевиков в 1917 г., то вождь большевиков ставил толстовцам в счет поражение в революции 1905 г.

Толстой был бы, вероятно, очень удивлен зачислением его по ведомству «патриархального» крестьянства. Вряд ли мог считаться «патриархальным» крестьянином близкий к нему Сютяев. Толстовские коммуны, возникшие после революции, так же, как мы увидим, были далеки от патриархального крестьянского быта.

Но значит ли это, что Толстой не ощущал событий, происходивших в России в последние годы его жизни, что воззрения его были далеки от действительности? Именно это утверждал недавно В. Краснов в статье о Толстом и Солженицыне: «Далекий от того, чтобы быть „зеркалом“ предполагаемых стремлений русских крестьян перед революцией, Толстой оказывается столь же далеким от крестьян, как и от других необразованных классов русского общества».<sup>1</sup> Это несправедливо. Постоянное общение Толстого с огромной массой людей, письма, получаемые им со всех концов страны подтверждали его тяжелые впечатления об окружающей действительности. И в 1909, и в 1910 гг., почти до самого ухода из Ясной Поляны, он в дневниках и письмах постоянно возвращался к теме невыносимости «глупой роскоши» среди «голодных, полуголодных людей, живущих во впах и в курных избах» (57, 2, 150, 171—172; 58, 44, 54; 82, № 17). Но рядом с этой темой возникала и другая: ощущение нарастающего озлобления в народе: «Вчера проехал мимо бьющих камень, точно меня сквозь строй прогнали» (58, 37). По поводу письма крестьянской девушки, посланного в редакцию газеты «Русское слово» (но не напечатанного), Толстой писал, что оно «ясно выражает ту совершившуюся в крестьянском рабочем населении за последнее время перемену, заключающуюся в живом сознании несправедливости своего положения» (81, № 336, 262). «Здесь мужики говорят: на небе царство господнее, а на земле царство господское», — писал Толстой Черткову из соседнего с Ясной Поляной имения Кочеты (89, № 909, 209).

Нет, Толстой все-таки был зеркалом России накануне революции. А пенять на зеркало, как известно, бесполезно.

### Короленко и Горький

Два писателя, связанные с Толстым в последние годы его жизни, стали свидетелями революции — Владимир Короленко и Максим Горький. Оба они страстно желали ее, и оба были обеспокоены ходом последующих событий.

Короленко, как и Толстой, предвидел неизбежность революции еще в 1909 г., когда писал «Бытовое явление»: «Кто пору-

<sup>1</sup> *Krasnov V. Wrestling with Lev Tolstoi. War, Peace, and Revolution in A. Solzhenitsyn's New August Chetyrnadsatogo // Slavic Review. 1986. V. 45, N 4. P. 211.*

чится, что вал не подыметя опять, так же неожиданно и еще более грозно? Нужно ли, чтобы в своем возвратном течении он принес и швырнул среди стихийного грохота эти тысячи трупов, задавленных в период „успокоения“?»<sup>1</sup> Сразу же после революции Короленко вынужден был обратиться к насущным вопросам, которые встали перед страной. Первым из них был вопрос о войне. Как и толстовцы, Короленко считал «безумную свалку народов, озарившую кровавым пожаром европейский мир и грозящую перекинуться в другие части света, великим преступлением, от ответственности за которое не свободно ни одно правительство, ни одно государство». Он заявлял, что «не пожалел бы отдать остаток жизни тем, кто мог бы с каким-нибудь вероятием противопоставить этому безумию деятельную идею человеческого братства». До революции, напоминая Короленко, он «не написал еще ни одного слова» в пользу войны. Но сейчас, когда произошла революция и «родина в опасности» (так и называлась его статья, написанная в марте 1917 г.), его позиция изменилась. Призыв к защите родины должен звучать «и от нас, писателей. . . кто всегда будил благородную мечту о том времени, „когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся“». Если бы теперь немецкое знамя развернулось над нашей землей, то всюду рядом с ним развернулось бы мрачное знамя реставрации, знамя восстановления деспотического строя. Нами стал бы повелевать не только Николай Романов, но через него и Вильгельм Гогенцоллерн». Может быть, «близок день, когда на великое совещание мира явятся в семью народов делегаты России. . . У свободной России есть, что сказать на великом совещании народов, которое должно положить основы прочного мира»<sup>2</sup> Такая оборонческая позиция отличала Короленко от толстовцев, сторонников отказа от всяких военных действий — Короленко писал об этом отличии толстовцу Н. И. Журину.<sup>3</sup> Опыт гражданской войны побудил Короленко усомниться в еще одном принципе, связывавшем его с Толстым, — в полном отрицании смертной казни. „Третьего дня опять вырезали семью: еврея, его жену и дочь. При этом принесли с собой водку и, зарезав еврея, кутили и насиловали жену и дочь, которых зарезали после изнасилования“, — записал он в дневнике в 1919 г. «. . .Против смертной казни таких зверей — даже я не возражаю. . .»<sup>4</sup>

Все годы начиная с 1917 и до своей смерти в 1921 г. Короленко провел в Полтаве, где он пережил смену множества властей.

<sup>1</sup> *Короленко В. Г.* Собр. соч.: В 10 т. М., 1955. Т. 9. С. 526—527.

<sup>2</sup> Статья в «Русских ведомостях» от 14 марта 1917 г., № 59. Цит. по: *В. Г. Короленко в годы революции и гражданской войны. 1917—1921. Биографическая хроника / Сост. П. Г. Негретов. Chaldize Publications, 1985. С. 19—24 (далее: Негретов).*

<sup>3</sup> *Короленко В. Г.* Собр. соч. Т. 10. С. 559. Короленко ссылался на свой рассказ «Сказание о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне Иуды» (Собр. соч. Т. 2), где он показывал, что «любовь к справедливости приветствует сопротивление явному насилию».

<sup>4</sup> *Негретов. С. 168—169.*

После Октября Полтаву занимали большевики, немцы с Радой и Скоропадским, петлюровцы, снова большевики, деникинцы и окончательно — большевики. Какова же была позиция Короленко? Свои взгляды он выражал в дневниках и газетных статьях, печатавшихся вопреки противодействию цензур различных властей, в переписке с Горьким и другими корреспондентами и особенно в шести посланиях Луначарскому, написанных в 1920 г. по особой просьбе последнего (инициатором этой переписки был, по-видимому, Ленин). Письма эти остались без ответа, и Короленко решил их опубликовать за границей (они были изданы в Париже в 1922 г.). В России эти письма были напечатаны почти семьдесят лет спустя — в 1988 г.<sup>1</sup>

Замечательной особенностью всех выступлений Короленко в 1917—1921 гг. был их трезвый, глубоко рационалистический характер. Совершенной неправдой было утверждение Луначарского, много раз потом повторявшееся в разных вариациях: «Короленко с его мягким сердцем растерялся перед „беспорядком“ и исключительностью и жестокостью революции».<sup>2</sup> Короленко нисколько не растерялся. «Я не социал-демократ и не социалист-революционер. Я — беспартийный писатель, мечтающий о праве и свободе для всех граждан отечества, партизан права и свободы — с общесоциалистическим направлением мысли...» — писал он летом 1918 г., когда большевики занялись уничтожением всей свободной печати. «Не повторяйте же страшных ошибок прошлого, признайте, что в нем было много страшной неправды, а в революции не одни ошибки, но и подавляющаяся правда». Короленко отмечал, что «большевики недаром преследуют теперь главным образом социалистов. С чьей стороны слышали мы самые смелые протесты против большевистских безобразий на местах?»<sup>3</sup> Даже борьба с белыми не смягчила этой враждебности большевиков к демократическим социалистам. В 1921 г., после окончания гражданской войны, был арестован «чрезвычайкой» и погиб, заболев в тюрьме, зять и друг Короленко, социал-демократ Ляхович. Короленко писал о необходимости для русских революционных масс «многому учиться у тех, которых они объявили презренными соглашателями и изменниками, как германские вожди социализма, вроде Каутского».<sup>4</sup> Не будучи марксистом, Короленко в письмах к Луначарскому убедительно доказывал, что политика большевиков противоречит взглядам их собственных учителей: «Вы, Анатолий Васильевич, конечно, отлично еще помните то время, когда вы, марксисты, вели ожесточенную полемику с народниками. Вы доказывали, что России необходимо и благодетельно пройти через „стадию

<sup>1</sup> *Негретов*. С. 384—433; ср.: Новый мир. 1988. № 10. С. 198—218. Ср. также воспоминания В. Д. Бонч-Бруевича в кн.: В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. М., 1962. С. 507—508.

<sup>2</sup> *Негретов*. С. 129.

<sup>3</sup> Там же. С. 112—113.

<sup>4</sup> Там же. С. 340.

капитализма“... Капиталистический класс вам тогда представлялся классом, худо ли, хорошо ли организующим производство... Почему же иностранное слово „буржуа“ — целое, огромное и сложное понятие, с вашей легкой руки превратилось для нашего темного народа, до тех пор его не знавшего, в упрощенное представление о буржуе, исключительно тунеядце, грубияне?.. Тактически вам выгодно было раздуть народную ненависть к капитализму и натравить народные массы на русский капитализм, как направляют боевой отряд на крепость... Крепость вами взята и отдана на поток и разграбление. Вы забыли только, что эта крепость — народное достояние, добытое „благодетельным процессом“, что в этом аппарате, созданном русским капитализмом, есть многое, подлежащее усовершенствованию, дальнейшему развитию, а не уничтожению...» Он ссылаясь на Энгельса, говорившего, что капитал в Америке «отлично исполняет свою роль» и «роль его далеко не закончена», и на западных социалистов, понимающих, что «такие вещи, как свобода мысли, собраний, слова и печати», — «необходимое орудие дальнейшего будущего... Только мы, никогда не знавшие этих свобод и не научившиеся пользоваться ими совместно с народом, объявляем их „буржуазными предрассудками“... Это огромная наша ошибка, еще и еще раз напоминающая славянофильский миф о нашем „народе-богоносце“ и еще более — нашу национальную сказку об Иванушке, который без науки все науки превзошел и которому все удается без труда по щучьему велению».<sup>1</sup>

«Вы победили добровольцев, победили Юденича, Колчака, поляков, вероятно, победите и Врангеля», — писал Короленко Луначарскому в сентябре 1920 г. «Одним словом, на всех фронтах вы являетесь победителями, не замечая внутреннего недуга, делающего вас бессильными перед фронтом природы... Вы видите из этого, что я не жду ни вмешательства Антанты, ни победы генералов. Россия стоит в раздумьи перед двумя утопиями: утопией прошлого и утопией будущего, выбирая, в какую утопию ей ринуться».<sup>2</sup>

Еще в марте 1919 г., до успехов Деникина, Короленко пришел к заключению, что «большевизм такая болезнь, которую приходится пережить органически. Никакие лекарства, а тем более хирургические операции помочь тут не могут. Лозунг для масс очень заманчивый...»<sup>3</sup> Его жена, приехавшая из Одессы, рассказывала «о безобразиях, которые происходили в Одессе при добровольцах и союзниках... Тут собрались реакционеры со всей России... Происходили расстрелы (это, кажется, всюду одинаково), происходили оргии наряду с нуждой, вообще Одесса дала зрелище признанки капитализма, для многих неглубоко думающих людей составляющей всю его сущность». В июле 1919 г. дени-

<sup>1</sup> Там же. С. 392, 401—402, 405—406.

<sup>2</sup> Там же. С. 430—431.

<sup>3</sup> Там же. С. 158.

кинцы заняли Полтаву. Короленко, недавно еще обличавший большевистский террор, убедился, что деникинцы не лучше: «Эти дни прошли в сплошном грабеже. Казаки всюду действовали так, как будто город отдан им на разграбление. . . Начались подлые бессудные расстрелы. . . Мальчишки указывают грабителям жилища евреев и сами тащат, что поало. В покупке награбленного участвуют „порядочно одетые люди“». В письме Луначарскому Короленко вспоминал о том, как белые «вытащили из общей ямы 16 трупов» людей, расстрелянных ЧК, «и положили их на показ. Впечатление было ужасное, но — к тому времени они уже расстреляли без суда несколько человек, и я спрашивал у их приверженцев: думают ли они, что трупы расстрелянных ими, извлеченные из ям, имели бы более привлекательный вид?». Короленко послал статью в возобновившуюся изданием кадетскую газету «Полтавский день», «в которой говорил о событиях, о грабежах и т. д.». Но редакция даже не пыталась представить эту статью в цензуру. «С кадетами, по-видимому, каши не сварить», — записал он в дневнике. В январе 1920 г. деникинцы в панике бежали из Полтавы. Короленко писал: «Добровольцы вели себя гораздо хуже большевиков и отметили свое господство, а особенно отступление, сплошной резней еврейского населения. . . которое должно было покрыть деникинцев позором в глазах их европейских благожелателей. . . Впечатление такое, что добровольчество не только разбито физически, но и убито нравственно». «Деникинцев я уже видел», — писал он в декабре 1920 г. Горнфельду. «Не думаю, что врангелевцы много от них отличаются. . .»<sup>1</sup>

«Прежний строй пал безвозвратно. Новому придется еще выкарабкиваться из своих ошибок, порой — безумия и преступлений, но старое погребло», — писал Короленко в конце 1920 г. А в 1921 г. он приходит к заключению: «. . . всякий народ заслуживает то правительство, какое имеет: русский народ заслужил своим излишним долготерпением большевиков. Они довели народ на край пропасти. Но мы видели и деникинцев и Врангеля. Они слишком тяготели к помещикам и к царизму. А это еще хуже. Это значило бы ввергнуть страну в маразм. . .»<sup>2</sup> Подводя итоги революции и гражданской войны, Короленко писал: «. . . я не раскаиваюсь ни в чем, как это теперь встречаешь среди людей нашего возраста: дескать, стремились к одному, а что вышло. Стремилась к тому, к чему нельзя было не стремиться в наших условиях. А вышло то, к чему привел „исторический ход вещей“. . .»<sup>3</sup> Этот «исторический ход вещей» в значительной степени совпадает с толстовским взглядом на историю как на «роевой» процесс, зависящий от «совпадения многих произволов людей, участвующих в этих событиях» и не управляемый волевым актом отдель-

<sup>1</sup> Там же. С. 172, 200, 203, 207, 222, 228, 282, 387.

<sup>2</sup> Там же. С. 301, 357.

<sup>3</sup> Короленко В. Г. Собр. соч. Т. 10. С. 578—579. Сп.: Издательство «Лань». С. 263.

ного человека. Но, так же как и Толстого, это убеждение отнюдь не приводило Короленко к какому-либо «пассивизму». В своем личном поведении писатель руководствовался прежде всего нравственными принципами: именно о «работе совести в человеческих душах» писал он в статье, посвященной десятилетию смерти Толстого.<sup>1</sup> Последние годы жизни Короленко, с 1918 по 1921 год, были годами его непрерывной, мучительной, иногда смертельно опасной деятельности — деятельности по спасению людей, попавших в мясорубку гражданской войны.

Деятельность эта, отражавшаяся в его дневниках и письмах почти ежедневно, диктовалась ощущением личного долга перед каждым, кому грозила смерть. В январе 1919 г. Короленко ходил в петлюровскую контрразведку, помещавшуюся в Grand Hotel'e, ходатайствовать за трех арестованных — женщину, крестьянина и студента. Узнав, что женщине и крестьянину смерть не угрожает, Короленко решил уйти домой: «Я чувствовал себя очень плохо. Задыхался от волнения и как-то потерял энергию». Но тут он вспомнил, что студента он не спас: «Я почувствовал, что я уже огрубел и так легко примирился с предстоящей, может быть, казнью неведомого человека... Я решил тотчас же пойти опять в Grand Hotel... Я стал говорить... что озверение, растущее с обеих сторон, необходимо прекратить... Пришел домой совершенно разбитый...»<sup>2</sup> «...Ты знаешь, что при петлюровцах еще мне пришлось... хлопотать, чтобы они не очень увлекались расстрелами, и даже спасти нескольких человек, обвиняемых в большевизме. Теперь приходится действовать в другую сторону», — писал Короленко жене в марте 1918 г., после победы большевиков над Петлюрой. «Много дел в чрезвычайке. И плодят еще больше...» С марта по июль 1919 г. в дневниках Короленко — сплошные записи о походах в ЧК и Исполком для хлопот за арестованных.<sup>3</sup>

В июле 1919 г. большевики оставили Полтаву. «Теперь нам же предстоит задача — охранять семьи большевиков от денкинских эксцессов», — записал в дневнике Короленко. Сразу же после прихода денкинцев Короленко вместе со своим зятем Ляховичем отправился в контрразведку. Там их встретили «с шумной приветливостью» — ведь именно они спасли при большевиках нескольких офицеров. Но вскоре Короленко пришлось снова хлопотать — на этот раз о бывших офицерах, приговоренных белыми к расстрелу за то, что они служили в Красной армии. В январе 1920 г. пришли большевики, и ходатайствовать за осужденных пришлось перед советскими властями. В одном случае Короленко обращался даже непосредственно к Луначарскому, приехавшему в июне 1920 г. в Полтаву (после этого приезда и началась их переписка). Короленко просил о пересмотре дела

<sup>1</sup> Цит. по: *Негретов*. С. 291.

<sup>2</sup> Там же. С. 148—150.

<sup>3</sup> Там же. С. 157, 164—167, 180—185, 189, 193—195.

двух мельников, приговоренных к расстрелу за продажу муки по цене, превышающей совершенно нереальные твердые цены. Луначарский и начальник «чрезвычайки» заверили Короленко, что осужденные еще не казнены и возможна отмена приговора. И лишь потом, когда Луначарский уехал, выяснилось, что мельники были расстреляны еще до этого разговора и нарком знал об этом.<sup>1</sup>

«...Все обязаны делать, кто что может на своем месте... Есть французская поговорка: „Делай, что ты должен делать, и пусть будет, что будет...“» — писал Короленко одной из своих корреспонденток.<sup>2</sup> Знал ли он, что этими словами заканчивался последний дневник Льва Толстого? Неизвестно. Но толстовской идее незыблемости нравственных принципов, не зависящих от «исторического хода вещей», он оставался верен до самой своей смерти 25 декабря 1921 года.

Позиция Горького в годы революции была во многом сходной с позицией Короленко. Как и Короленко, Горький решительно осудил Октябрьский переворот, пытаясь помешать ему еще во время его подготовки и назвав большевиков после захвата ими власти «авантюристами и безумцами». Он писал, что Ленин «работает, как химик в лаборатории, с той разницей, что химик пользуется мертвой материей... а Ленин работает над живым материалом... Сознательные рабочие, идущие за Лениным, должны понять, что с русским рабочим классом проделывается безжалостный опыт, который уничтожит лучшие силы рабочих и надолго остановит нормальное течение революции». «...Пролетариат ничего и никого не победил...» — писал он после Октября.

И Короленко, и Горький протестовали против разгона Учредительного собрания и расстрела безоружной демонстрации в его защиту; оба они были возмущены убийством в больнице двух депутатов Учредительного собрания — Шингарева и Кокошкина.

Горький, находившийся в Петрограде, еще острее воспринимал эти события, чем Короленко. Оба они сравнивали расстрел рабочей демонстрации 5 января 1918 г. с расстрелом 9 января 1905 г. «Сейчас идет не процесс социальной революции, а надолго разрушается почва, которая могла бы сделать эту революцию возможной в будущем», — писал Горький. Как и Короленко, Горький с тревогой отмечал попытки соединить приятие большевистской революции со славянофильским мифом о «народобогоносце». Приводя слова одного из своих корреспондентов: «В большевизме выражается особенность русского духа, его самобытность... Мы же по пророчеству великих наших учителей — например, Достоевского и Толстого — являемся народом-Мессией, на который возложено идти дальше всех и впереди всех...» —

<sup>1</sup> Там же. С. 198, 200, 202—205, 210, 246—250, 252—253, 255—259, 261—266, 272, 275—281, 298—299, 308—310, 317—319, 337, 349, 370, 384—389.

<sup>2</sup> Короленко С. В. Книга об отце. Ижевск, 1968. С. 302; ср.: *Негретов*. С. 53.

Горький отмечал, что они написаны «в тоне московского славянофильства, которое так громко визжало в начале войны...»<sup>1</sup>

Существенно различалось отношение обоих писателей к вопросу о продолжении войны, возникшему после Февральской революции. Оба они были социалистами, но Короленко был ближе к социалистам-народникам; Горький же принадлежал к социал-демократам, и притом к их интернационалистскому крылу (Суханов, Мартов). «Эта война — самоубийство Европы!» — писал он 22 апреля 1917 г. «... Кто же виноват в дьявольском обмане, в создании кровавого хаоса? Не будем искать виновных в стороне от самих себя. Скажем горькую правду: все мы виноваты в этом преступлении, все и каждый». Когда спустя год армия была уже разрушена и стало широко распространенным представление, будто «армию разрушили социалисты», Горький привел множество свидетельств того, что еще в 1916 г. было ясно, что «армия неизбежно должна развалиться» и «вся Русь, а не только ее армия, начала разрушаться задолго до того, как социалисты получили в ней право голоса...» Горький писал, что факты о «немецких зверствах» так же «не оспоримы, как факты русских зверств в Сморгони, в городах Галиции и т. д.», и «отношение немцев к русским военнопленным гнусно», ибо «отношение старой русской власти к немецким военнопленным было тоже гнусным».<sup>2</sup>

При таких обстоятельствах Горький не считал себя вправе призывать к защите Отечества даже после Февральской революции. Надежды его, как и других интернационалистов, были связаны с общеевропейским социалистическим движением, направленным против войны и получившим отражение в конференциях в Циммервальде, Кинтале и Стокгольме в 1915—1917 гг. Понятие «Циммервальд» в нынешних представлениях связывается больше всего с Лениным и «пораженческой» тактикой большевиков, но следует иметь в виду, что в Циммервальде сторонники Ленина составляли лишь меньшинство, а большинство выступало за справедливый демократический мир между народами. «... В „пораженчестве“ я совершенно неповиновен и никогда ему не сочувствовал. Поричать кулачную расправу, дуэль, войну как мерзости, позорнейшие для всех людей, как действия, беспособные разрешить спор и углубляющие вражду, — поричать все это еще не значит быть „пораженцем“ и „непротивленцем“», — писал Горький.<sup>3</sup>

В отличие от оборонцев, Горький объяснял братание русских солдат с немецкими на фронтах не коварными замыслами немецкого генерального штаба, а «проснувшимся в людях чувством

---

<sup>1</sup> Горький М. Несвоевременные мысли. Статьи 1917—1918 гг. / Сост., введение и примеч. Г. Е. Ермолаева. Paris, 1971. С. 148—152, 156, 157, 163, 168, 185 (далее: Несвоевременные мысли); ср.: *Незрелов*. С. 87, 341.

<sup>2</sup> Несвоевременные мысли. С. 24, 26—29, 220, 224.

<sup>3</sup> Там же. С. 157, 164—167, 180—185, 189, 193—195.

отвращения к бессмысленной бойне...» «...Очевидно, что проклятая война, начатая жадностью командующих классов, будет прекращена силою здравого смысла солдат, т. е. демократии», — писал он. «Если это будет — это будет нечто небывалое, великое, почти чудесное, и это даст человеку право гордиться собою — воля его победила самое отвратительное чудовище — чудовище войны».<sup>1</sup>

Если надежды интернационалистов в 1917 году не сбылись, то едва ли правильно объяснять это близорукостью, глупостью или даже «предательским» поведением. В России тяготы войны привели к революции уже в феврале 1917 г.; положение Германии было не легче, и недовольство нарастало и там. Надеяться на революцию в Германии (и в других воюющих странах) можно было с не меньшим основанием, чем на успехи измученной русской армии.

Перед нами — проблема исторического предвидения, одна из проблем, поставленных Толстым в исторических главах «Войны и мира». Говоря о том, что те или иные исторические события могли привести к определенным последствиям — например, деяния порочных монархов — к революции, Толстой спрашивал: «Какой срок этого отражения?» (12, 310). Вопрос о «сроках отражения» постоянно встает перед людьми, жаждущими разрешения исторических кризисов — и чаще всего в определениях такого срока они ошибаются. Революция в Германии не произошла ни в 1917, ни в первой половине 1918 г.; война продолжалась. На всеобщий мир с участием союзников надежды не было. Возможно, что, если бы Временное правительство пошло на сепаратный мир с Австрией или Германией до развала русской армии, оно добилось бы сравнительно благоприятных условий этого мира — но вплоть до октября 1917 г. оно этого не сделало.

Немецкие условия, предложенные в Бресте, включали уступку Россией ряда территорий (Украина, часть Белоруссии, Прибалтика и др.). Горький считал, что готовность Ленина согласиться на эти уступки это «не политика рабочего класса, а древнерусская, удельная, истинно суздальская политика».<sup>2</sup> Но что он мог предложить взамен?

«Политика, кто бы ее ни делал, всегда отвратительна, ибо ей неизбежно сопутствуют ложь, клевета и насилие»,<sup>3</sup> — таков был вывод, к которому пришел писатель в итоге всех событий 1917 и первой половины 1918 года.

Деятельность Горького в годы гражданской войны напоминала деятельность Короленко. Это была помощь отдельным людям, попавшим в беду, культурно-просветительная работа. Горький организовал Дом ученых, кое-как снабжавший пайками голодных интеллигентов, Дом искусств, издательство «Всемирная

<sup>1</sup> Там же. С. 25.

<sup>2</sup> Там же. С. 266.

<sup>3</sup> Там же. С. 266.

литература», обеспечивавшее их работой. О самоотверженной работе Горького, спасшего в те годы множество жизней, писали многие современники, в том числе и эмигранты — В. Ходасевич, Е. Замятин.<sup>1</sup> И если Горькому многое не удавалось и не удалось, в частности предотвратить гибель двух поэтов — осужденного на казнь Гумилева и доведенного до отчаяния Блока, то в этом не было его вины. Не был виноват Горький и в том, что его деятельность в помощь голодающим в 1921 г., к которой он, с одобрения Ленина, привлек не только иностранцев, но и представителей русской оппозиционной интеллигенции, привела к роспуску созданного было Комитета помощи голодающим, аресту его участников — Прокоповича, Кусковой и других, приговоренных к расстрелу (казнь им была заменена затем высылкой за границу). «Вы сделали из меня провокатора. Это случилось со мною впервые в жизни», — заявил Горький заместителю Ленина Каменеву.<sup>2</sup>

Но жизнь Горького все же завершилась не так, как жизнь Короленко. «Суеверие устроительства», решительно отвергнутое Толстым и чуждое Короленко, было Горькому весьма свойственно. Пока это «устроительство» касалось только защиты культуры и отдельных людей, оно, несомненно, было полезным. Но «устроительские» планы Горького простирались и на политику, которую сам он признавал «всегда отвратительной». Он был сторонником «активного отношения к действительности», веры в возможность «двигать массы». Эта позиция сближала его с большевиками — даже весной 1918 года. «Большевики?» — спрашивал он «женщин-матерей» в одной из статей. «Лучшие из них — превосходные люди, которыми со временем будет гордиться русская история, а ваши дети будут восхищаться их энергией. . . Я знаю, что они производят жесточайший научный опыт над живым телом России. . . О да, они наделали много грубейших, мрачных ошибок, — Бог тоже ошибся, сделав всех нас глупее, чем следовало, природа тоже во многом ошибалась. . . Но, если вам угодно, то и о большевиках можно сказать нечто доброе». Та же мысль развивалась им и в другой статье: «Завоевав политические права, народ получил возможность свободного творчества новых форм социальной жизни, но он все еще находится — и внешне, и внутренне — под влиянием плесени и ржавчины старого быта. . .» И как вывод из этих размышлений: «Мне кажется, что первым должным делом следует признать необходимость объединения интеллектуальных сил старой опытной интеллигенции с силами молодой рабоче-крестьянской интеллигенции». Любопытно, что все эти статьи были напечатаны в «Новой жизни» в мае—июне

---

<sup>1</sup> Замятин Е. Лица. Нью-Йорк, 1955. С. 83—98; Ходасевич В. Ф. Некрополь. Воспоминания. YMCA-PRESS, Paris, 1967. С. 230—232. Ср.: Wolfe B. D. The Bridge and the Abyss. The Troubled Friendship of Maxim Gorki and V. I. Lenin. N. Y.; Wash.; L., 1967. P. 77—98.

<sup>2</sup> Wolfe B. D. The Bridge and the Abyss. P. 115—116.

1918 г., т. е. буквально накануне закрытия этой газеты как контр-революционной.<sup>1</sup>

Мысль об исторической неизбежности победы большевиков была не чужда и Короленко. Но, по мнению Короленко, русский народ «заслужил большевиков» своим долготерпением в годы царизма, благодаря чему революция совала со временем войны и приобрела столь жестокие формы. Горький же искал причины этой жестокости в неких общих свойствах русского народа и русского крестьянства, отрицательное отношение к которому сложилось у него еще до революции, когда крестьяне сожгли кооператив, основанный им совместно с народником М. Ромасем. Именно эту мысль развивал Горький в статье «О русском крестьянстве», опубликованной уже в Берлине, после того как он уехал за границу. Как и всякое обобщение такого масштаба, идея исторической вины целого народа и целого класса была крайне сомнительной, и, что особенно опасно, в ней ощущалось стремление снять вину с большевистской власти: «Когда в „зверстве“ обвиняют вождей революции — группу наиболее активной интеллигенции, я рассматриваю это как ложь и клевету... или... как добросовестное заблуждение... Тех, кто взял на себя каторжную, Геркулесову работу очистки Авгиевых конюшен русской жизни, я не могу считать „мучителями народа“, с моей точки зрения они — скорее жертвы».<sup>2</sup> Однако Ленин и его сподвижники издавали приказы о преследовании инакомыслящих, запрете свободного слова, о массовом терроре и, следовательно, несли полную ответственность за «зверства».

Горький, впрочем, был далеко еще не готов к примирению с большевиками. Уже после своего отъезда за границу он сделал попытку предотвратить расправу над эсеровскими вождями, которых коммунисты (в переговорах с представителями двух социалистических Интернационалов) обещали не предавать смертной казни и которых они после позорной судебной комедии все же осудили на расстрел. Горький обращался к западному общественному мнению, привлек к защите эсеров Анатоля Франса, но

---

<sup>1</sup> Несвоевременные мысли. С. 235—236, 250, 265.

<sup>2</sup> Горький М. О русском крестьянстве. Берлин, 1922; перепечатано в: Огонек. 1991. № 49. С. 12. В том же номере «Огонька» помещен полемический ответ Б. Можяева Горькому — «Я теряюсь». Возмущение Можяева закономерно, но самый характер этой посмертной полемики не представляется удачным. Вместо того чтобы указать на бессмысленность таких огульных обвинений, Можяев ссылается на то, что многие из большевистских вождей не были русскими, и т. д. Трудно согласиться и с предложением Можяева исключить Горького из «школьных программ» за «преступления против своей нации» и «над родом людским» (там же. С. 13). Если применить такие репрессии к автору «Детства» и «В людях», то не придется ли исключать из программ и другого классика, утверждавшего, что не война, а «долгий мир зверит и ожесточает человека», и отвергавшего «буржуазные правоучения» о «пролитой крови» (см. выше, с. 33)? А ведь он был великий писатель.

успеха не достиг: приговор был не отменен, а лишь отсрочен исполнением (до совершения кем-либо террористического акта против советских властей). Именно спор из-за этого приговора и был причиной травли Горького в советской печати и прекращения его связей с Лениным.<sup>1</sup> Столь же сильное впечатление произвел на Горького и полученный им циркуляр Крупской местным библиотекам, в котором им предлагалось исключить из своих фондов «устаревшие» и «контрреволюционные» книги, в том числе сочинения Льва Толстого, Канта, Шопенгауера и др. Горький собирался в связи с этим отказаться от советского гражданства — собирался, но так и не сделал этого.<sup>2</sup>

История дальнейших взаимоотношений писателя с коммунистической властью хорошо известна. До 1931 г. Горький жил за границей, в Италии, но сотрудничество его с советской печатью становилось все более широким. В 1928 и 1929 гг. он приезжал в СССР; посетил Соловки и заявил, что этот лагерь не имеет ничего общего с царскими тюрьмами, ибо «здесь жизнью трудящихся руководят рабочие люди», а «рабочий не может относиться к „правонарушителям“ так сурово и беспощадно, как он вынужден относиться к своим классовым, инстинктивным врагам, которых — он знает — не перевоспитаешь». Что касается «классовых врагов», то это «худая трава, которую из поля вон выбрасывает справедливая рука истории» (Горькому были показаны лишь «контрреволюционеры эмоционального типа», монархисты, а «партийные люди» — эсеры и меньшевики — на всякий случай «переведены куда-то»)<sup>3</sup>. Далее последовали: «Если враг не сдается — его уничтожают», журналы «Наши достижения», «СССР на стройке», книга о Беломорканале, «История гражданской войны», в 1934 г. — 1-й съезд писателей, породивший «социалистический реализм» — эту «трагедию бессмыслицы», по выражению польского философа. Впрочем, Горький в 30-х годах был уже узником: он находился под фактическим домашним арестом, под ежедневным, тщательным надзором шефов НКВД и ушел из жизни перед «большими процессами» — видимо, смерть его была вызвана не естественными причинами, а опасением, как бы он вновь не вспомнил старое и не стал заниматься «чепухой, пустяками», как оценивал Ленин его ходатайства об арестованных.

Почему так случилось? Почему человек, всю жизнь боявшийся «испортить биографию» честного писателя, завершил ее так печально и страшно? Важную роль сыграл здесь опыт пребывания за границей в 1921—1931 гг. Колебания значительной части эмиграции между совершенно безнадежной идеей восстановления монархии, западным и «восточным (советским) фашизмом» от-

<sup>1</sup> *Serge Victor. Memoirs of a Revolutionary, 1901—1941. L., 1963. P. 164; Wolfe B. D. The Bridge and the Abyss. P. 148—149.*

<sup>2</sup> *Ходасевич В. Ф. Некрополь. С. 248—253. Ср.: Wolfe B. D. The Bridge and the Abyss. P. 143—144.*

<sup>3</sup> *Горький М. Собр. соч.: В 18 т. М., 1963. Т. 11. С. 309, 315.*

таякивали Горького от большинства эмигрантов. В конце концов он все-таки выбрал «восточный фашизм», убедив себя при этом в том, что это вовсе не фашизм. От своего заявления, что «пролетариат никого и ничего не победил», сделанного после Октябрьской революции, он теперь отказался и увидел в советской системе ту самую «диктатуру политически грамотных рабочих в тесном союзе с научной и технической интеллигенцией», о которой он мечтал в 1918 г. В этом самообмане немалую роль сыграла одна особенность характера Горького, которую отмечали общавшиеся с ним люди, — предпочтение навеянного человечеству «золотого сна» тяжелой и неприятной правде. «Я искреннейше и непоколебимо ненавижу правду», — заявил он однажды.<sup>1</sup>

Но была и другая причина — более важная. Принцип Толстого и Короленко: «Делай, что ты должен делать, и пусть будет, что будет» — далеко не оптимистической принцип. Он основан на признании сугубо ограниченных возможностей отдельного человека перед лицом истории. Но вести тяжкую, самоотверженную борьбу без надежды на существенное изменение окружающей жизни нелегко. Ведь и Толстому хотелось «верить, что человеку, а потому и человечеству, как собранию людей, стоит только захотеть, чтобы с корнем вырвать из себя зло», и он с большой болью признавал в 1909 г. несбыточность этой надежды (52, 31; ср. 57, 200). Горький же предпочел «тьме низких истин» «возвышающий обман». И заплатил за это не только жизнью, но и посмертным бесчестием.

### Толстовцы и большевики

Как же относились к революции прямые единомышленники Толстого — те, кто называл себя толстовцами?

Прежде чем попытаться ответить на этот вопрос, следует отметить, что самые понятия «толстовства» и «толстовцев» далеко не однозначны. Толстой решительно настаивал на том, что никакого собственного учения у него нет: он лишь призывает к соблюдению нравственных заповедей Христа, высказанных в евангелиях. Конечно, он очень хотел бы «верить в то, что человеку, а потому и человечеству, как собранию людей», удастся «с корнем вырвать из себя зло». Но никаких конкретных путей к воздействию на волю человечества он не указывал: любая волевая попытка изменить ход исторического движения грешила бы «суеверием устройства».

Лучше других современников Толстого понимал сущность его взглядов Владимир Григорьевич Чертков — он еще в 1909 г. заявлял, что «одной из заветных мыслей» Толстого была идея зависимости общественной жизни людей от совокупности «исторических условий и сложных процессов общенародного созна-

<sup>1</sup> Ходасевич В. Ф. Некрополь. С. 253, 273.

ния». Именно отрицание каких бы то ни было «коллективных выступлений» побудило Черткова отказаться от подписания булгаковского обращения 1914 г. «Опомнитесь, люди-братья», хотя идеям этого обращения он сочувствовал и даже помогал составлять его.

Чертков, долголетний секретарь Толстого Н. Н. Гусев (которого в последний год жизни писателя сменил В. Булгаков), Александра Львовна Толстая — все эти близкие Толстому люди стремились прежде всего к широкой публикации толстовского наследия, только в 1917 году освободившегося от цензуры. Впервые в России были изданы запретные прежде статьи против патриотизма и ряд религиозно-философских статей, не пропускавшиеся цензурой тексты «Воскресения». Печатание сочинений Толстого осуществлялось издательством «Задруга»; было создано Общество изучения и распространения творений Толстого. При участии В. Г. Черткова, А. Л. Толстой и др. начало готовиться полное собрание сочинений писателя.

Революция не только сделала возможной публикацию запрещенных прежде сочинений. Она открыла путь и для свободной деятельности тех, кто считал, что идеи Толстого можно осуществлять совместными усилиями «собрания людей». Толстовцы группировались вокруг Общества истинной свободы в память Толстого, Вегетарианского общества и других подобных организаций.

Как и Булгаков, люди эти безусловно отвергали войну. Идеи братания между русскими и немецкими солдатами, идеи, обычно связываемые в представлениях историков с 1917 годом и интернационалистской пропагандой, возникали у них еще до Февральской революции. В своих воспоминаниях будущий активный толстовец Я. Д. Драгуновский рассказывал о том, что попытки братания делались еще в 1915 г. и жестоко пресекались командованием.<sup>1</sup> Февральскую революцию толстовцы приветствовали. Не были они и противниками Октябрьского переворота. Будущие деятели этих коммун — И. П. Ярков, В. Н. Янов, Я. Д. Драгуновский, Б. В. Мазурин, С. В. Троицкий — сочувствовали большевикам: они приветствовали братания на фронте, конфискацию земель у духовенства и помещиков.<sup>2</sup> Более сложной была позиция людей, близких к Толстому. В. Ф. Булгаков в докладе «Лев Толстой и наша современность», опубликованном Обществом истинной свободы, писал: «Свобода, в смысле жизни по совести, для народа непосредственно связывалась с желанием прекратить братоубийственную войну. Большевики поняли это лучше, чем близорукие представители первого Временного правительства. Русский народ поверил большевикам... Но тут русский народ

---

<sup>1</sup> Воспоминания крестьян-толстовцев. 1910—1930-е годы. М., 1989. С. 337—338.

<sup>2</sup> *Цоповский М.* Русские мужики рассказывают. Последователи Л. Н. Толстого в Советском Союзе. 1918—1977. London, 1983. С. 59, 67. Воспоминания крестьян-толстовцев. С. 16, 104, 108, 347—348.

сделал маленькую историческую ошибку: он, вместо того чтобы, раз освободившись от этого правительства, остаться свободным и перестать подчиняться всякому правительству, посадил себе на шею большевиков и тем самым приготовил себе новую петлю... Толстой отрицательно смотрел на всякое правительство, на всякую власть... И нужно сказать, что так называемая рабоче-крестьянская власть большевиков не представляет в этом отношении никакого исключения... Это одно из самых грубых, жестоких, деспотических правительств, которые видела не только русская, но и мировая история. Смертная казнь, да еще без суда, без разбора дела, снова стала обыденным и бытовым явлением, как во времена царского режима... Только раньше вешали, а теперь „ставят к стенке“, и, живи этот старик, может быть, ему пришлось бы сказать: „Поставьте и меня“...» Но в том же докладе В. Булгаков заявил своим слушателям: «Если среди вас есть враги большевиков, то я должен сказать, что я и не с ними и что домогательства противоположной стороны мне одинаково чужды...»<sup>1</sup> Примерно такие же взгляды высказывал в то время и другой секретарь Толстого, Н. Н. Гусев, в статье «За кого бы был Лев Толстой».<sup>2</sup> Осенью 1919 г., когда Деникин, наступавший на Москву, был недалеко от Тулы, организованное в поместье Толстого общество «Ясная Поляна» намеревалось обратиться к красным и белым с просьбой, чтобы Ясная Поляна была объявлена зоной, находящейся вне военных действий.<sup>3</sup>

Заслуживают внимания в связи с этим два воззвания, написанные В. Г. Чертковым и П. Бирюковым как раз осенью 1919 г. и обращенные к английскому общественному мнению. Они были озаглавлены «Save Russia (Спасите Россию)». Оба автора одобряли выход России из войны в 1917—1918 гг. «Наши трудящиеся массы совершили одно из тех исторических деяний («achievements»), значение которых для будущего всего человечества настолько всеобъемлюще, что оно едва ли может быть оценено нынешним поколением. Два года назад русский народ, у которого свирепствовала тогда всемирная бойня вызывала отвращение и физическое изнеможение, отказался от всякого дальнейшего участия в ней. Оставив фронт и решительно вернувшись в свои дома, русские солдаты продемонстрировали всему миру, что война может быть остановлена народами независимо от их правительств, путем простого неповиновения. Миллионы человеческих личностей, которых русское правительство привыкло рассматривать как простое „пушечное мясо“, неожиданно обнаружили, что под гипнотическим влиянием церкви и государства они окончательно утратили свой здравый смысл. Неслыханной до того формой самопроизвольной демобилизации русский народ ввел в дальней-

<sup>1</sup> Булгаков В. Лев Толстой и наша современность (о путях к истинному возрождению). М., 1919. С. 10—11, 13.

<sup>2</sup> Гусев Н. За кого был бы Лев Толстой // Голос Толстого и Единение. 1919. № 12. Ср.: Поповский М. Русские мужики рассказывают. С. 64.

<sup>3</sup> Толстая А. Проблески во тьме. С. 27.

шую историю войн новый фактор, с которым отныне нужно будет считаться», — писал Чертков. Он полагал даже, что пример, поданный русским народом, «в большой степени содействовал прекращению европейской войны», что сходное поведение немецких солдат побудило Германию сдатьсь. П. Бирюков брал под защиту Брестский мир: «В ваших глазах это было преступление, задевающее ваше достоинство. Для них это был героический акт, равного которому не было в истории. Перед лицом наступления могущественного противника народ и его правительство, обессиленные, прекратили войну и, сложив оружие, открыли мирные переговоры, приглашая вас сделать то же. Но вы ответили на это лишь презрительным молчанием. С того времени в каждом случае, когда это казалось возможным, вплоть до последней резолюции Петроградского совета, русское правительство не переставало предлагать умиротворение, но вы отвечали им танками и другими орудиями разрушения. Почему?»<sup>1</sup>

Чертков заявлял, что в ходе революции русский народ осуществил такие преобразования, о которых только мечтали самые смелые европейские реформаторы: «Земельная проблема была решена полным уничтожением помещичьей собственности и передачей земли в распоряжение тех, кто обрабатывает ее своими руками. Церковь отделена от государства. Интересы трудящихся классов, по крайней мере в принципе, ставятся на первое место, и рабочие теоретически признаются хозяевами страны». «Не будучи ни „большевиком“, ни сторонником какой-либо насильственной власти», Чертков отвергал «сатанинскую внутреннюю войну», свирепствовавшую в стране, и «искусственное и насильственное вовлечение в эту войну наших новых поколений и вообще большей части населения, никак в ней не заинтересованного». Он осуждал «иностранные силы, которые путем поддержки, прямой или косвенной, оказываемой некоторым из воюющих сторон, продлевают эту братоубийственную бойню». И Чертков, и Бирюков призывали «братьев рабочих» помешать своим правительствам осуществлять «любое вмешательство, открытое или замаскированное, в дела России».<sup>2</sup>

С обеими воюющими сторонами, участвующими в гражданской войне, сподвижникам Толстого приходилось сталкиваться прежде всего при попытках красных и белых мобилизовать толстовцев в армию. После Февральской революции Временное правительство признало права тех, кто по нравственным соображениям отказывается взять в руки оружие, и амнистировало лиц, осужденных по таким обвинениям при царе. Большевики не сразу решились отказаться от этого решения. В конце 1918 г. был подготовлен, а 4 января 1919 г. утвержден декрет об освобождении от военной службы лиц, не приемлющих ее по религиозным

<sup>1</sup> Save Russia. A Remarkable Appeal to England by Tolstoy's Executor in a Letter to his English Friends by V. Tchertkoff. London, 1919. P. 3, 16—17.

<sup>2</sup> Save Russia. P. 8—9, 14—17.

соображениям. Право возбуждать ходатайства о таком освобождении предоставлялось «Объединенному совету религиозных общин и групп», возглавляемому В. Г. Чертковым. Первое время это право признавалось и красными, и белыми, но затем оно стало нарушаться обеими сторонами. Уже в декабре 1919 г. советские карательные органы расстреляли за отказ от военной службы восемь молодых толстовцев. Год спустя была арестована, подвергнута истязаниям и осуждена на заключение в концентрационном лагере другая группа толстовцев. За отказ от военной службы было расстреляно свыше 100 человек. 14 декабря было издано «Разъяснение» к декрету 1919 г. Согласно этому разъяснению, Объединенный совет, возглавляемый Чертковым, отстранялся от участия в решении вопросов об отказе от воинской службы. Верховный Суд, рассматривая дело толстовца Николаева, принял решение, что действие декрета 1919 г. не распространяется на толстовцев, ибо «последователи учения Льва Толстого являются не последователями религиозной секты, исповедующими определенный религиозный культ, а свободомыслящей этической группой, носящей антимилитаристский характер и проводящей в жизнь принципы непротивления злу насилеием». В 1923 г. Наркомюст подтвердил исключение толстовцев из числа религиозных групп, имеющих право на освобождение от воинской службы. В. Ф. Булгаков отмечал парадоксальность такого положения, когда атеистическое государство дискриминирует группу лиц на том основании, что они не религиозные сектанты, а светские лица.<sup>1</sup> После нескольких смелых выступлений<sup>2</sup> В. Ф. Булгаков вынужден был оставить Россию и уехать за границу.

Зигзаги советской политики отражались на судьбе сподвижников Толстого. В 1919 г. Луначарский назначил А. Л. Толстую «комиссаром Ясной Поляны». Но уже вскоре после этого на московской квартире, где она жила, был устроен обыск в поисках «тайной типографии»; после вторичного обыска дочь Толстого была даже арестована и попала в ЧК — хотя и не надолго. Третий обыск и арест были произведены в марте 1920 г. На этот раз обвинение было более серьезным — участие в деятельности так называемого «Тактического центра». Участие это выражалось в том, что Толстая предоставляла главным обвиняемым свою квартиру, ставила самовар и пила их чаем. Александра Львовна была приговорена к трем годам лагеря (женской колонии), но освобождена досрочно.<sup>3</sup>

Аресты А. Л. Толстой и ее освобождения из заключения были несомненно связаны с постоянными колебаниями советской политики. Начинаясь НЭП; одновременно разразился голод в По-

<sup>1</sup> Булгаков В. Ф. Лев Толстой и судьбы русского антимилитаризма // Воля России. 1924. № 14—15. С. 90—97; Поповский М. Русские мужики рассказывают. С. 68—72, 77—80.

<sup>2</sup> Толстая А. Проблески во тьме. С. 118; Поповский М. Русские мужики рассказывают. С. 65.

<sup>3</sup> Толстая А. Проблески во тьме. С. 31, 34—36, 40—45, 54—121.

волжье. Большевики были чрезвычайно заинтересованы в улучшении своей международной репутации и получении помощи из-за границы. Именно в то время был создан Комитет помощи голодающим с участием Прокоповича, Кусковой и др.; в состав Комитета была введена и Александра Толстая. Тогда же Ленин решил «архи-любезно» ответить на предложение духоборов, эмигрировавших при царе в Канаду, вернуться в Россию. В марте 1921 г. в Москве собрался съезд представителей сектантских сельскохозяйственных и производственных артелей.<sup>1</sup> В Ясной Поляне был организован Музей-усадьба, при котором несколько лет существовала сельскохозяйственная коммуна.

Насколько эфемерны были эти уступки, видно уже из судьбы Комитета помощи голодающим: когда получение помощи из-за границы было обеспечено, власти ликвидировали комитет и арестовали его членов. В числе арестованных (хотя и ненадолго) опять была А. Толстая.

В 1923 г. издательство «Задруга» было закрыто; изданием сочинений Толстого занялся Госиздат.<sup>2</sup> Тогда же Крупская издала распоряжение об изъятии религиозных сочинений Толстого из всех массовых библиотек — распоряжение, вызвавшее, как мы знаем, резкую, но недолговременную реакцию Горького.

1928 год — год столетия Толстого — отразил крайнюю противоречивость правительственной политики по отношению к писателю. Толстовский юбилей был отмечен повсеместно и, в частности, в Ясной Поляне; в торжествах участвовал Луначарский.<sup>3</sup> Было принято правительственное решение об издании юбилейного Подного собрания сочинений Толстого.

Но в том же году была развернута широкая пропагандистская кампания против Толстого и толстовства. Обличением Толстого как «стояпа и утверждения поповщины» занимались М. Ольминский, Е. Ярославский, А. Мартынов и многие другие.<sup>4</sup> В «Правде» была помещена статья, где резко осуждались юбилейные торжества в Ясной Поляне: полуграмотные журналисты назвали «Прославление Природы» из девятой симфонии Бетховена, пропетое школьниками, «псалмами»<sup>5</sup> В том же году были арестованы и отправлены на Соловки пятеро толстовцев. За активную пропаганду был арестован и сослан в 1929 г. толстовец И. П. Яров. Духоборы, переселившиеся в 1921 г. в Советскую Россию, ходатайствовали теперь об обратной эмиграции — ответом были репрессии и расстрелы.<sup>6</sup>

Положение Ясной Поляны и яснополянской школы становилось все более тяжелым. Местные партийцы творили бесчинства,

<sup>1</sup> Поповский М. Русские мужики рассказывают. С. 82—83, 85.

<sup>2</sup> Толстая А. Проблески во тьме. С. 25, 150—155.

<sup>3</sup> Там же. С. 213—216.

<sup>4</sup> Поповский М. Русские мужики рассказывают. С. 119—120.

<sup>5</sup> Толстая А. Проблески во тьме. С. 218.

<sup>6</sup> Поповский М. Русские мужики рассказывают. С. 59, 111—116, 124—126, 227—233.

растлевали учениц школы и одновременно писали доносы в Москву; школе навязывалась антирелигиозная пропаганда. Толстая обращалась к центральным властям, была даже на приеме у Сталина. Все это было бесполезно. В 1929 г. дочь Толстого навсегда покинула Россию<sup>1</sup> и уехала в Японию. Дальнейшая ее деятельность — создание Толстовского фонда, помощь эмигрантам из России, выступления по радио против советской интервенции в Венгрии в 1956 г. и травли Пастернака — осуществлялась уже за рубежом, в Соединенных Штатах.

Деятельность других сподвижников Толстого постепенно свелась к одной задаче: изданию Полного собрания сочинений Толстого и литературы о нем. Важнейшую роль в подготовке этого издания сыграли В. Г. Чертков, Н. Н. Гусев и ряд литературоведов-текстологов — М. А. Цявловский, Б. М. Эйхенбаум и другие. Начатое в 1928 г. Полное собрание издавалось в течение тридцати лет — до 1958 г. (Чертков не дожид до его окончания). Каково было его значение? А. Л. Толстая отстранилась от него с самого начала — она считала, что при скромном тираже и большой цене это издание не сыграет какой-либо роли в распространении взглядов Толстого.<sup>2</sup> Отчасти это верно: приобрести эти тома смогло лишь небольшое количество специалистов старшего поколения, книжные спекулянты и библиотеки. Издание подвергалось сокращениям: в 1939 г. в постановлении Совнаркома указывалось на «промахи и ошибки» в вышедших томах и предлагалось пересмотреть все подготовляемые тома (после т. 38); в 1951 г. А. А. Фадеев заявил о недопустимости печатания в собрании сочинений произведений Толстого, «носящих реакционный характер, являющихся прямой пропагандой религии».<sup>3</sup> И все-таки, при всех его недостатках, само существование этого издания стало важным фактором развития русской культуры. В библиотеках (во всяком случае, в библиотеках больших городов и научных центров) прочесть тома этого издания было возможно; в спецхран оно, к счастью, никогда не отправлялось. Н. Н. Гусев издал монументальный двухтомный труд «Летопись жизни и творчества Толстого»; вернувшийся в Россию в 1949 г. В. Ф. Булгаков опубликовал воспоминания о последнем годе жизни Толстого.<sup>4</sup>

Но наряду с людьми, стремившимися к наиболее полной публикации сочинений Толстого, существовали и деятели, пытавшиеся осуществить его нравственные заветы на практике. Это были толстовцы, первые поколения которых начали свою деятельность еще при жизни Толстого. Состав их был весьма разнороден. Толстовцы, объединившиеся в 1921 г. в сельскохозяйственную коммуну при Ясной Поляне, оказались явно не способными на-

<sup>1</sup> Толстая А. Проблески во тьме. С. 228—242.

<sup>2</sup> Там же. С. 25.

<sup>3</sup> Ср.: Сарнов С. Зачем мы открываем «запасники» // Огонек. 1990. № 3. С. 17—18.

<sup>4</sup> Булгаков В. Л. Н. Толстой в последний год жизни. М., 1957.

ладить хозяйство; коммуна распалась, и вместо нее была организована сельскохозяйственная артель служащих.<sup>1</sup>

Совсем иной характер имела деятельность других толстовцев, преимущественно крестьян, которые стали создавать свои коммуны в различных местностях России и Украины. Организация этих коммун, конечно, не была прямым осуществлением идей Толстого, мечтавшего об отмене собственности на землю и установлении свободного и всеобщего землепользования согласно плану Генри Джорджа. Один из толстовцев пытался было предложить в 30-х годах реформу Генри Джорджа советскому правительству, но кончилось это плачевно — его арестовали.<sup>2</sup> Но общий принцип отказа от земельной собственности, высказанный Толстым в письмах Столыпину, был сохранен и его последователями. Коммуны их строились по старому принципу утопических коммунистов: «брат по способности и давать по потребности». «Люди за долгие годы жизни в коммуне уже отвыкли от таких понятий, как „мой дом“, „моя корова“ и т. д.; все было „наше“. Люди уже сильно впитали в себя коммунистические, не частно-собственнические чувства», — писал в своих воспоминаниях о коммуне один из ее организаторов Б. В. Мазурин.<sup>3</sup> Но, несмотря на то что хозяйство в коммунах развивалось успешно, все они вскоре натолкнулись на сугубо враждебную политику государства. Уже в 1927—1929 гг. была подвергнута преследованиям и разгромлена коммуна в Шестаковке под Москвой, жизнь которой по сохранившимся рукописям описал М. Поповский. Руководители ее, Мазурин и другие, были отданы под суд. «За что же их судить? — спрашивал защитник коммунаров Кропоткин (по-видимому, родственник П. А. Кропоткина). — Они ведь действительно жили коммуной, а не болтали, как некоторые».

«Жить коммуной» в государстве, которое именovalo себя коммунистическим, оказалось невозможным. Обобществив свое хозяйство, толстовцы все же стремились сохранить то право, о котором Толстой писал Столыпину как о незыбломом, — «право собственности на произведения своего труда». Уже в начале 1923 г. хозяйство в Шестаковке, по воспоминаниям Мазурина, «стало товарным» — толстовцы снабжали молоком 2-ю Градскую больницу и детские ясли. После разгрома Шестаковской и других коммун в Европейской части СССР толстовцы в 1931 г. переселились в Сибирь, где основали недалеко от строящегося Новокузнецка (Сталинска) новые коммуны. Но и здесь ими руководил «свободный дух предприимчивости, не капиталистической, а коллективной, крестьянской», — дух, который оказался совершенно несовместимым с советской системой. Право собственности коммунаров на произведения своего труда оказалось ограниченным не фиксированным «единым налогом», как предлагал Генри

<sup>1</sup> Толстая А. Проблески во тьме. С. 131—142.

<sup>2</sup> Воспоминания крестьян-толстовцев. С. 74.

<sup>3</sup> Там же. С. 78, 194—195, 260.

Джордж, а все расширявшимися обязательными поставками, «твердыми заданиями» и т. д.

Подводя итоги взаимоотношениям толстовских коммун с советской властью, Мазурин писал: «Многочисленные факты говорят о том, что мощный толчок к возникновению самостоятельных сельскохозяйственных коммун (как на политической, так равно и на религиозной основе) дала вовсе не коллективизация, а февральская революция. На долю коллективизации выпало нечто обратное — свести все эти подлинно самостоятельные коммунистические организации на нет, заменив инициативу в них узкими рамками казенного колхозного устава».<sup>1</sup>

В обстановке всеобщей коллективизации, при непрерывных преследованиях со стороны властей, сибирские коммуны восемь лет отстаивали свое существование. В 1934—1935 гг. были арестованы и осуждены на основании совершенно абсурдных обвинений несколько членов коммуны, и в их числе учительница Анна Малород. Если «Правда» принимала ораторию Бетховена, исполнявшуюся яснополянскими школьниками, за «псалмы», то сибирские обвинители проявили не меньшую эрудицию, утверждая, что А. Малород разучивала с учениками «религиозную песню „Крейцерову сонату“ Толстого».<sup>2</sup> В 1936 г. была осуждена другая группа коммунаров, и в их числе А. Барышева, Мазурин, Я. Драгуновский и Д. Моргачев. В 1937—1938 гг. пошли повальные аресты; приговор Мазурину и другим был отменен прокуром «за мягкость» и подсудимым были даны более длительные сроки. Отправленные в лагеря многие из толстовцев, в числе их Я. Драгуновский и А. Барышева, были расстреляны. Но сибирская коммуна продолжала, несмотря на преследования, существовать до 1939 г. Уже после ее гибели, во время войны, большое число толстовцев было приговорено к смертной казни и расстреляно за отказ от воинской службы.<sup>3</sup>

Каковы же были итоги деятельности толстовских коммун в Советской России? Поражение и гибель коммунаров-толстовцев никак не опровергали справедливости избранного ими пути: несмотря на все преследования, они не были сломлены и одержали нравственную победу над своими палачами. Но толстовцы стремились не только к соблюдению нравственных принципов: они хотели распространить свои идеи, повлиять на судьбы страны в целом. Очень характерна в этом отношении позиция одного из наиболее активных последователей Толстого — В. Ф. Булгакова. Булгаков считал, что материалисты смотрели на историю человечества «как на бесконечный ряд постоянно возобновляющихся и сменяющихся передвижений народов и перегруппировок сил, классов в государстве»; Толстой же смотрел «на историю челове-

<sup>1</sup> Там же. С. 97, 140, 146—147.

<sup>2</sup> Там же. С. 173—174; *Поповский М.* Русские мужики рассказывают. С. 190.

<sup>3</sup> Воспоминания крестьян-толстовцев. С. 180, 183—184, 197, 200, 203—204, 300, 477; *Поповский М.* Русские мужики рассказывают. С. 229—240.

чества как на историю нравственного прогресса человеческой души и, вместе с тем, человеческих отношений».<sup>1</sup> В полемике с Луначарским Булгаков заявлял, что для Маркса, вслед за Адамом Смитом, «эгоизм является абсолютной основой человеческих отношений», в то время как для Толстого «существуют духовные стремления, еще более сильные, чем эгоизм, стремления души, вследствие которых человек отказывается от своего эгоизма». В поисках освобождения «от тесных рамок толстовского индивидуализма и ленинской неразборчивости в средствах» В. Ф. Булгаков призывал «не отказываться... от борьбы за права угнетенных и обездоленных». Булгаков заявлял, что он — «не с Толстым, поскольку он отрицает необходимость организованного общественного усилия для освобождения человечества или поработенной его части», и заявлял, что он — «с Толстым, поскольку Толстой устанавливает, что без внутреннего совершенствования человека невозможно и коренное улучшение социальной жизни», и «с Лениным, поскольку Ленин отстаивает необходимость социального, энергичного усилия для освобождения трудящихся масс человечества из под гнета эксплуатации».<sup>2</sup>

Легко заметить, что это эклектическое соединение взглядов Толстого и Ленина, провозглашенное Булгаковым, обнаруживало явные черты «суеверия устроительства» и находилось тем самым в противоречии со взглядами его учителя. Объявляя в «Войне и мире» «дифференциалами», «бесконечно малыми величинами истории» «однородные влечения людей» — т. е. стремления достаточно эгоистические, Толстой оставлял открытым вопрос о том, как исторический процесс, основанный на «интегрировании» этих «однородных влечений» может совпасть с принципами «человеческой морали». Как может осуществиться этот перескок, *transcensus* от «исторических условий и сложных процессов общественного сознания» к искоренению «зла» — этот вопрос представлялся ему чрезвычайно сложным; Булгаков, напротив, считал его вполне разрешимым.

Спротивление крестьянства в 1929—1933 гг. насильственной коллективизации отнюдь не было спором людей, исходивших из нравственных принципов «человеческого сознания», с жестокими проводниками «общественного бытия». «Общественное бытие» крестьян вовсе не требовало коллективизации. В 1929 г. тульский крестьянин М. П. Новиков, тот самый, к которому за двадцать лет до этого хотел переселиться Толстой во время ухода из Ясной Поляны, — направил в ВКП(б) и в другие советские учреждения письмо (написанное совместно с другим толстовцем И. М. Трегубовым), в котором доказывал, что «борьба за урожайность» вовсе не требует коллективизации: «Коллективизация, имеющая на верху горы батраческий коммунизм, есть стремление не вперед, а назад, и может удовлетворить лишь забытых нуждой»

<sup>1</sup> Булгаков В. Толстой и наша современность. С. 14—17.

<sup>2</sup> Булгаков В. Толстой, Ленин, Ганди. Прага, 1930. С. 27, 48—49.

батраков и нищих... Тут не надо быть пророком, чтобы все же видеть те последствия, которые сами собой наступят как результат наших опытов в области социалистического утопизма», — т. е. «экономический тупик». Ответом на это письмо был арест Новикова и гибель его в лагере.<sup>1</sup>

Организаторы коллективизации тоже исходили из общественного бытия — бытия своего «нового класса», требовавшего извлечения из деревни наибольших доходов для обеспечения города, и в первую очередь, самого этого класса.

Противопоставить этой силе массовое и организованное сопротивление толстовцы не могли бы, даже если бы стремились к этому. «Если бы вам удалось соединить большое количество людей — большое непременно, которые во имя общечеловеческой поруки... подняли голос против всякого насилия сверху... тогда насилие снизу, как самоотверженный протест против насилия сверху, все менее и менее становилось бы необходимым. Пока этого нет, насилие снизу остается фактором процесса нравственного...» — писал П. А. Кропоткин Черткову еще в 1897 г.<sup>2</sup> Толстовцы действовали согласно принципу, провозглашенному Толстым в его предсмертных записях и повторенному В. Короленко: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».<sup>3</sup> И они были не одиноки в своем нравственном противостоянии. Нравственное сопротивление оказывали власти другие многочисленные сектантские группы (официально признанные церкви предпочитали сотрудничество с властью), подпольные организации меньшевиков в 20—30-х годах, самостоятельные молодежные организации 30—40-х годов, о которых упоминали в своих воспоминаниях А. Краснов-Левитин и А. Жигулин. С 60-х годов начались и уже не прекращались выступления диссидентов. Но все эти отдельные «элементы свободы» не могли превратиться в единое движение, пока общий кризис системы не привел к интеграции «дифференциалов истории» и сопротивление не стало массовой и неодолимой силой.

---

<sup>1</sup> Поповский М. Русские мужики рассказывают. С. 121—123.

<sup>2</sup> Муратов М. В. Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков по их переписке. М., 1934. С. 252; ср.: Поповский М. Русские мужики рассказывают. С. 54.

<sup>3</sup> Воспоминания крестьян-толстовцев. С. 174; Поповский М. Русские мужики рассказывают. С. 187.

#### IV. РУССКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА XX ВЕКА И ИДЕИ ТОЛСТОГО

Споры, возникшие вокруг идей Толстого, обычно были связаны с его нравственным учением — к историческим взглядам писателя критики обращались куда реже. Больше всего возражений вызывала идея, которая буквально соответствовала Нагорной проповеди, но труднее всего согласовалась с реальной жизнью: идея непротивления злу насилием.

Еще Владимир Соловьёв в книге «Принципы наказания с нравственной точки зрения» приводил пример, к которому неоднократно возвращались и другие критики Толстого: как поступить с разбойником, насилующим на ваших глазах беззащитную женщину или убивающим ребенка?

«„Закон любви, исключаящий насилие, неисполним, потому что может случиться, что злодей на ваших глазах будет убивать беззащитного ребенка“, — говорят люди. . .» — писал Толстой в одной из своих последних статей. «До такой степени трогает их судьба этого воображаемого ребенка, что они никак не могут допустить, чтобы одним из условий любви было бы неупотребление насилия. . .»

Толстой отвергал ссылки на примеры крайних зверств из-за того, что такие зверства казались ему исключительными по своему характеру и ссылки на них искусственными. «А я вот прожил на свете семьдесят пять лет и ни разу о таком случае даже не слышал. . .» — заявил он в беседе со студентами, приводившими такие примеры. «Так не проще ли признать этот случай исключением, хотя бы потому, чтобы ради него не оправдывать остальное насилие». <sup>1</sup>

Что же все-таки делать, встретившись с таким «исключением»? «Защитить убиваемого ребенка всегда можно, подставив свою грудь под удар убийцы. . .» — заявлял Толстой (38, 92).

Уже в 1909 г. Толстой испытывал сомнения в том, что любовь делает свое дело и теперь в России с казнями, виселицами и т. д.» Но последующие годы оказались еще более страшными. В 1914 г. началась война, превосходившая по количеству жесто-

---

<sup>1</sup> Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников. М., 1960. Т. II. С. 234—235.

костей все войны, современные Толстому. Единомышленники писателя, не считая возможным брать в руки оружие, стали служить в военных лазаретах — санитарями, сестрами милосердия. О войне они узнали не понаслышке.

Мы уже упоминали о военных воспоминаниях дочери Толстого — Александры Львовны. Еще богаче были военные впечатления другой сестры милосердия, Софии Захаровны Федорченко. Первый том своей книги, построенной в форме солдатских рассказов и разговоров, — «Народ на войне» — Федорченко опубликовала еще в 1917 г., но с солдатами она продолжала общаться вплоть до конца гражданской войны, и разговоры с ними стали темой следующих частей той же книги. Закончивала ее С. З. Федорченко в Московском музее Толстого на Пречистенке, где она с мужем, Н. П. Ракицким, обитала, поддерживая дружеские отношения с родными Толстого.

Судьба ее книги оказалась нелегкой. Переданные С. Федорченко слова солдат о бессмысленности и ненужности войны с «немцем, коли он меня ничем не обидел», о братаниях с австрийскими солдатами воспринимались как протокольные записи подлинных свидетельств об империалистической войне, требующих только литературной обработки мастеров советской литературы. Именно так отнесся к книге Федорченко Демьян Бедный, первоначально склонный, по-видимому, даже воспользоваться ее материалами. Но когда писательница объяснила, что ее книга — не стенографические записи, а плод литературного труда, отношение к ней резко изменилось. Демьян Бедный обвинил ее в подделке под фольклор, в фальсификации. Этими обвинениями была в значительной степени предопределена писательская судьба Федорченко; книга «Народ на войне» вышла из забвения лишь в последние годы.<sup>1</sup>

Определенную роль в судьбе книги сыграло, как можно думать, не только то обстоятельство, что она не была непосредственной записью солдатских разговоров, а написана по воспоминаниям о них. Не менее сомнительным было и содержание книги. В своей статье против Федорченко Демьян Бедный указывал, что его уже при первом ознакомлении с книгой настораживала «известная кривизна в передаче материала», но пока он думал, что это «сырой материал» и «немудрые записи, подслушанные у народа», он мирился с такой «кривизной», теперь же решил, что «все Софья Федорченко из своего пальчика высосала».<sup>2</sup> Ведь речь в тексте шла не об империалистической, а о всякой войне, о массовом озверении людей: «Привычка — великое дело. Я теперь хорошо привык — ни своего, ни чужого страха больше не чувю. Вот только детей не убивывал. Однако, думаю, и к этому привыкнуть можно...» Тема истязания детей появля-

<sup>1</sup> Федорченко С. Народ на войне. М., 1990.

<sup>2</sup> Бедный Демьян. Мистификаторы и фальсификаторы — не литература // Известия. 1928. 19 февр., № 43. С. 2.

ется уже в первой книге: «Земляки австрийцев палить пристроились, а те, злыдни нечистые, бабу горемычную, да ребятишек ейных в окно кажут. Не стерпело сердце, подскочил, бабу с младенчиком в окно выдрал, за другим стал рукою шарить, а они мне за шкуру и залили, разрывную. Уж без меня сожгли-то их». . . «— Что казаки баб портят, то правда. Видел как девочку лет семи чисто как стерву разодрали. Один. . . а трое ногами топчут, ржут. Думаю уж под вторым мертвенькая была, а свое все четверо доказали. Я аж стыдобушкой кричал, — не слышат. А стащить не дались, набили. . .»<sup>1</sup>

Та же тема, еще сильнее — в третьей книге, посвященной гражданской войне: «Сидели они в уголке, забились, отец да жена, да мальчик годков восьми. А кругом гудит даже, до чего про жидов издеваются. А те молчки, только бы не тронули. Как вдруг идет до них через весь вагон один такой видный мужчина — грубый. — Жиды вы? — спрашивает. Молчат. Он мальчишку сорвал с места, слабенький мальчик, проволоком до окна, в окно головой и выпшвырнул, как котенка. Заверезжал отец, да за сыном в окно кинулся. А мать как зашлась, так и не отлили».

И еще один случай — прямо как ответ на совет Толстого подставить «свою грудь под удар убийцы»: «Как тащили у вагона жидов, так они выли, так они молились. А один ошалел, что ли, девчоночку — дочку свою — с ног сшиб, пал на нее, да полами прикрывает, прячет, что ли. Прикрывает ее и прикрывает, ровно наседка. До чего дурной это народ со страху: от такого разве прикроешь полою. . .»<sup>2</sup>

Те же мотивы — у И. Бабеля, чья «Конармия» так же возмутила Буденного, как книга Федорченко — Демьяна Бедного.

Это — двадцатый век, лишь самое начало которого застал Толстой. Впереди были еще коллективизация и раскулачивание, Гулаг, вторая мировая война, Бабий Яр, газовые камеры.

Я на мир взираю из-под столика:  
Век двадцатый — век необычайный.  
Чем столетье интересней для историка  
Тем для современника печальней, —

написал поэт Николай Глазков.

Именно потому, что век был страшен, он побуждал людей думать об истории, об осмыслении исторических событий.

Но способна ли была русская литература XX века к такому осмыслению? Восприятие русской послереволюционной литературы сильно изменилось за последние годы. Советские писатели, официально вознесенные в классики и включенные в школьные программы, перестали внушать уважение; двадцатый век стал восприниматься как время падения русской литературы. В эми-

<sup>1</sup> Федорченко С. Народ на войне. М., 1923. С. 11, 14, 21, 23, 37; М., 1990. С. 38, 40, 70—71.

<sup>2</sup> Новый мир. 1927. Кн. 3. С. 92—93. В издании 1990 г. эпизод отсутствует.

грации высказывалась даже мысль, что русская литература окончилась толстовским «Хаджи-Муратом»; сейчас многие готовы причислить к литературному Пантеону лишь книги эмигрантов и запретные сочинения. Едва ли это справедливо. Писатели, жившие в Советской России, работали в трудных условиях, но лучшие из них продолжали традиции своих предшественников. Русская проза после Толстого создавалась не только в эмиграции, но в большей степени на родине; хотя и с трудом, она пробивалась через цензурные преграды в печать.

Одной из важных тем русской прозы XX в. была история.

### Спор с Толстым: Алданов и Мережковский

Сочинения Марка Александровича Алданова только сейчас приходят в Россию. И как обычно, после многолетнего замалчивания начинается восхваление. Указывают, что Бунин много раз выдвигал Алданова кандидатом на Нобелевскую премию, считая, что под некоторыми из его страниц «не отрекся бы поставить свою подпись Лев Николаевич», что М. Осоргин признавал Алданова «одним из первоклассных художников новой русской литературы». А. Чернышев, исследователь творчества Алданова, пишет, что «от первой своей повести до последнего романа Алданов, вчерашний апологет „Войны и мира“, последовательно проводил взгляд на историю, противоположный толстовскому: в ней нет никаких предопределенностей, нет поступательного движения. „Прогресс? Человечество идет назад, и мы в первых рядах“, — повторял он. Люди, по его убеждению, ничуть не меняются с веками, они так же борются, страдают, умирают.»<sup>1</sup> Заметим сразу, что толстовский взгляд на историю, противопоставляемый алдановскому, здесь изложен неверно. Признание исторической закономерности, присущее Толстому, отнюдь не означало признания «поступательного движения» и «прогресса» в истории. Утверждая, что люди не меняются с веками, Алданов не спорил, а соглашался с Толстым. Возражая тем читателям, которые не находили в «Войне и мире» «характер» того времени, Толстой писал, что «в те времена, так же любили, завидовали, искали истины, добродетели, увлекались страстями; та же была сложная умственно-нравственная жизнь...» (16, 216).

Но в вопросе о закономерности в истории, о роли в ней «великих людей» Алданов действительно занимал противоположные Толстому позиции. Наиболее подробно он изложил свои взгляды в трактате «Ульмская ночь. Философия случая», направленный в значительной степени против философии истории Толстого. Алданов утверждал, что поскольку в истории нет закономерно-

---

<sup>1</sup> Октябрь. 1991. № 3. С. 4 (предисловие А. Чернышева к роману Алданова «Самоубийство»). Ср.: Алданов М. Самоубийство. Нью-Йорк, 1958. С. 4—5 (предисловие Г. Адамовича).

стей, «история и социология должны быть науками преимущественно повествовательными, описательными». Такая точка зрения довольно часто высказывалась философами, однако, ей противоречат попытки писателя вывести из своей «философии случая» некие конкретно-политические советы — ограничение демократии международным «трестом мозгов», неизвестно кем создаваемым. Но поскольку, как отмечал Алданов, «в истории гипотезы *опытной* проверке не поддаются», автор мог бы выдвигать свою «философию случая» как любую другую аксиому. Но он этим не ограничился, а попытался опровергнуть конкретные наблюдения, приведенные Толстым в пользу его точки зрения, и противопоставить ей свои наблюдения. При этом основное внимание Алданов уделил почему-то вопросу, который в рассуждениях Толстого не играл сколько нибудь важной роли, а только упоминался при описании Бородинского сражения, — отказу Наполеона от введения в бой старой гвардии (10, 244). Алданов утверждал, что «нет ничего неправдоподобного» в предположении, что «атака 18-тысячной старой гвардии действительно могла бы решить исход сражения». <sup>1</sup> Но что значит «решить исход сражения»? Заставить русских отступить или уничтожить русскую армию, с тем чтобы она совсем не могла дальше сражаться? Угроза уничтожения русской армии несомненно побудила бы Кутузова отступить, ибо он не хуже Наполеона понимал, что «спасенье России в армии» (10, 275). Если бы введение в бой старой гвардии могло привести только к такому отступлению русских — то стоило ли гвардию вводить? И без этого после Бородинской битвы русские отступили и оставили Москву. А с другой стороны, потеря старой гвардии была бы катастрофой для Наполеона, ибо она, как вспоминал Денис Давыдов, оказалась единственной боеспособной частью, противостоявшей партизанам при отступлении французов.

Главная мысль Толстого в рассуждении о Бородинском сражении заключалась, как мы знаем, в том, что французская армия шла на эту битву не столько по воле Наполеона, сколько в соответствии с «однородными стремлениями» солдатской массы. Алданов упомянул только одну фразу из этого рассуждения, которая постоянно вызывала возражения критиков: «Ежели бы Наполеон запретил им теперь драться с русскими, они бы его убили и пошли бы драться с русскими потому что это было необходимо». Алданов видел в этих словах явную «художественную кляксу». <sup>2</sup> А между тем слова Толстого — не «клякса», а самая очевидная гипербола — точнее, *conditio irrealis*. Французские солдаты под Бородином не могли и не собирались убивать своего императора, потому что его и их стремления в этом случае совпадали. И толстовское объяснение этих стремлений, которое почему-то совер-

---

<sup>1</sup> Алданов М. А. Ульмская ночь. Нью-Йорк, 1953. С. 97, 109, 117, 321—348.

<sup>2</sup> Там же. С. 103.

шенно игнорировал Алданов, ясно и убедительно — измученные походом, солдаты Наполеона стремились к «отдыху победителей» и зимним квартирам. Столь же ясно и убедительно и данное Толстым объяснение распада французской армии, растекшейся по домам в огромном пустом городе, и ее бегства из России, с которым должен был смириться Наполеон. Все эти примеры, столь важные для концепции Толстого, Алданов просто оставил без внимания. Станным образом он вообще игнорировал общие рассуждения Толстого в двух последних томах и втором эпилоге к «Войне и миру». Упомянув о «миллионах квант», скрещивающихся «отдельными, несколько не однородными группами», и о больших явлениях, как «интеграле малых», он как будто касался тех же вопросов, которыми занимался Толстой, но даже не упомянул толстовской идеи о существовании «однородных влечений» людей как «дифференциалов» или «бесконечно малых величин» истории. Бесспорный исторический факт, что «в начале девятнадцатого века сотни тысяч людей с оружием в руках двигались сначала в течение нескольких лет с запада на восток», кажется ему некой фикцией, которую «угодно» было предложить Толстому для подтверждения его взгляда на историческую причинность. «Чем же это кончилось? Ничем не кончилось. Осталась „круглая“ философия „круглого“ Платона Каратаева: благолепие».<sup>1</sup> Но «Война и мир» вовсе не завершается «круглым» Платоном Каратаевым: она заканчивается решением Пьера Безухова вступить в общество декабристов и мечтой Николеньки Болконского совершать подвиги вместе с «дядей Пьером». Что же касается «движения народов запада», о котором писал Толстой и от которого отмахивался Алданов, то никак нельзя утверждать, что оно «ничем не кончилось». Движение это пошло после Наполеона не на восток, а на юг и юго-восток и привело к созданию колониальных империй, просуществовавших два века и распавшихся только к концу XX столетия — уже после смерти Алданова.

В опровержение взглядов Толстого и в доказательство своей «философии случая» Алданов приводил еще несколько примеров. В «Ульмской ночи» он доказывал совершенную случайность Октябрьского переворота 1917 г., произошедшего по воле Ленина, а в своем последнем романе «Самоубийство» утверждал, что первая мировая война не была результатом глубоких общественных противоречий, а следствием поступков двух «неврастеников» Европы — германского императора и австрийского министра иностранных дел. Но почему народы всех воевавших стран последовали воле этих «неврастеников», почему была создана еще в начале века Антанта (и противостоявший ей австро-германский союз), почему в войну вмешались Франция и Англия? Почему, наконец, намерения этих «неврастеников» в 1914 г. (или воля Ленина в 1917 г.) должны считаться *причиной* всех последующих

<sup>1</sup> Там же. С. 107, 119, 121.

событий, а действия огромных масс людей — лишь их *следствием*, Алданов не объяснил.<sup>1</sup>

Конкретное художественное воплощение «философия случая» получила в ряде сочинений Алданова — начиная с ранней повести «Святая Елена, маленький остров» (1921) и кончая его последним романом «Самоубийство» (1956). Название повести «Святая Елена» раскрывается из своеобразного эпитафия к ней — краткого сообщения о том, что в школьной тетради Наполеона 1788 г., составляемой по курсу географии, последними словами были: «Святая Елена, маленький остров». Во второй части повести, где рассказывается о пребывании Наполеона на острове Святой Елены, «философия случая» приписывается самому императору — «он слишком ясно видел роль случая во всех предпринятых им делах, в несбывшихся надеждах и неожиданных удачах»: «Я узнал на опыте, насколько величайшие в мире события зависят от Его Величества — случая».<sup>2</sup> Но наиболее яркая и выразительная страница повести — окончание ее первой части, посвященной русскому представителю на острове, графу де-Бальмену. Женившийся на юной англичанке и собирающийся вместе с нею отправиться в Россию, де-Бальмен отправляется в последнюю прогулку по острову.

«Александр Антонович, чуть вздрогнув, усталился в сторону пня на маленькую руку, кидавшую в воду камешки. Вдруг заблывшийся человек, вынимая из кучки новый булыжник, опустил локоть — и крик замер на устах графа де-Бальмена.

Он узнал Наполеона. . .

Александр Антонович постоял с минуту в оцепенении, затем на цыпочках бросился назад. Он почти бежал, не говоря не единого слова.

..Этот человек, кидающий в воду камешки, был владыкой мра. . .»<sup>3</sup>

«Sublime! Grande!» — этот восторг и благоговение перед Наполеоном, о которых с возмущением писал Толстой (12, 165), оказались нечуждыми и стороннику «философии случая».

Веру в важнейшую роль исторических личностей Алданов распространил и на Ленина. Уже в трактате «Ульмская ночь» он утверждал, что, не будь Ленина, Октябрьская революция не произошла бы. Говоря о расхождениях между Лениным и Троцким по вопросу, когда и как следует совершить переворот, Алданов признавал более мудрым совет Ленина заранее арестовать «Демократическое совещание» (предпарламент), предварив таким образом 2-й Съезд советов, к которому хотел приурочить восстание Троцкий.<sup>4</sup> А между тем переворот был совершен, как

<sup>1</sup> Алданов М. А. 1) Ульмская ночь. С. 156—186; 2) Самоубийство. С. 362—364.

<sup>2</sup> Алданов М. А. Святая Елена, маленький остров. Берлин, 1926. С. 7, 87, 113.

<sup>3</sup> Там же. С. 75—76.

<sup>4</sup> Алданов М. А. Ульмская ночь. С. 182—183.

известно, по плану Троцкого — в день Съезда советов, что давало возможность создать фикцию передачи «власти советам». Идея ареста «Демократического совещания» была весьма рискованной — «совещание» было не узкой группой лиц, как Временное правительство, а представляло широкие круги демократической общественности, и большевики не пытались его арестовать, как не арестовали уже после победы, три месяца спустя, делегатов разогнанного ими Учредительного собрания. Ошибочность ленинского предложения арестовать «Демократическое совещание» и руководящую роль Троцкого в восстании признавал и Сталин (в первые годы революции).<sup>1</sup>

Алданов игнорировал эти факты. Конечно, Ленин никак не вызывал его симпатий — напротив, он считал, что человечеству «надо было оплакать» его «рождение». Но именно потому «надо было оплакать», что в Ленине — причина Октябрьской революции. Парадоксально, что эту идею Алданов утверждает в прямой полемике со своим героем, заявляющим в романе, что если бы его накануне Октября даже арестовали бы, революция бы не сорвалась: «Нет случайностей, есть только законы истории».

Для Алданова никаких закономерностей в истории нет, есть только случайность. Все дело именно в таком «необычайном, волевым явлении», каким был Ленин.<sup>2</sup>

Спор с Толстым и тему Наполеона продолжил другой, еще более известный писатель-эмигрант — Дмитрий Мережковский. Уже в статье о Толстом в книге «Царство Антихриста» Мережковский, связывая Толстого с большевизмом, приводил как свидетельство «воли к дикости, воли к безличности» враждебность Толстого Наполеону: «Вот почему Толстой уничтожает Наполеона, затмевает это солнце личности... Вместо одного лучезарного Солнца — бесчисленные, малые, темные солнца-атомы, „круглые“ Платоны Каратаевы, капли „вод многих“ — того социального потока, который едва не проглотил однажды, а хочет проглотить весь мир. Наполеоновит солнце разогнало первую тучу потопную; какое солнце разгонит вторую?..»<sup>3</sup> В 1929 г. Мережковский издал в Белграде книгу «Наполеон». Предшествовавшая ей повесть Алданова никак не упоминается в книге Мережковского, но запись в школьной тетради Наполеона, использованная Алдановым для названия, у него тоже фигурировала и была здесь более на месте: запись эта могла восприниматься не как любопытный курьез, а как указание на провиденциальную судьбу героя. С Толстым Мережковский расправлялся по-прежнему без излишних деликатностей: «Суд над Наполеоном пьяного лакея Лаврушки в „Воине и мире“ совпадает с приговором самого Толстого: Наполеон совершает только „счастливые преступления“.—

<sup>1</sup> *Trotsky Leon. The History of the Russian Revolution.* N. Y., 1937. P. 357, 372—373. Ср.: Правда. 1918. 6 ноября.

<sup>2</sup> *Алданов М. Самоубийство.* С. 421, 470, 508.

<sup>3</sup> *Мережковский Д. С. Царство Антихриста.* Мюнхен, 1921. С. 194—195.

У него „блестящая и самоуверенная ограниченность“. — „Ребьяческая дерзость и самоуверенность приобретают ему великую славу.“ У него „глупость и подлость, не имеющая примеров“; „последняя степень подлости, которой учится стыдится каждый ребенок“».

Лакея Лаврушку автор помянул, очевидно, для пущей обиды Толстому: в «Войне и мире» Лаврушка и не думает о «последней степени подлости» Наполеона: он лишь притворяется, что не узнал императора, и делает вид, что поражен встречей с ним. Более всего огорчило Мережковского то, что Толстому — «русскому пророку», оскорбившему Наполеона, — никто не ответил и «человеческое стадо жадно ринулось, куда поманили его пастихи».<sup>1</sup>

В отличие от Алданова, Мережковский не связывал тему Наполеона с проблемой случайности или закономерности в истории — или же связывал ее в некоем космическом и сверхчеловеческом смысле. Обращаясь к толстовскому сравнению исторического движения с движением паровоза, мы можем уподобить Мережковского тому персонажу, который думает, что паровоз движет «черт» — Антихрист, но в сложном взаимодействии с Христом. Тема эта проходила через всю трилогию Мережковского «Христос и Антихрист», включавшую романы об Юлиане Отступнике, Леонардо да Винчи, Петре. Читатель, прочитавший эти обширные романы, так и остается в недоумении — как именно противоборство Христа с Антихристом движет историю: почему, в частности, роман о Петре и гибели царевича Алексея заканчивается торжествующим восклицанием: «Осанна! Тьму победил свет... — Осанна! Антихриста победил Христос!»<sup>2</sup> Описание предметов быта, недостаточное, по мнению Мережковского у Толстого,<sup>3</sup> у него самого дано в изобилии, так же как и бесконечные цитаты. Но все это никак не раскрывало мыслей автора. Как справедливо заметил Корней Чуковский, в трилогии Мережковского «нет ни Юлиана, ни Леонардо да Винчи, ни Петра, а есть вещи, вещи и вещи, множество вещей... окончательно загромоздивших собою живое существо. Трилогия Мережковского написана собственно для того, чтобы обнаружить „бездну верхнюю“, „бездну нижнюю“, „Богочеловека“ и „Человекобога“, „Христа и Антихриста“, землю и небо, слитыми в одной душе... Замысел великий, философские и психологические задачи необъятные, — но вещи — куда денешься от этих вещей, если они сыплются без конца, засыпая собой и верхнюю и нижнюю бездну, и Мережковского, и Петра, и Леонардо, и читателя». Обещанного

<sup>1</sup> Мережковский Д. С. Наполеон. Белград, 1929. Т. 1. С. 10.

<sup>2</sup> Мережковский Д. С. Христос и Антихрист. III: Антихрист. Петр и Алексей. 1905. С. 609.

<sup>3</sup> Этот упрек Мережковского справедливо отверг Бороздин (*Бороздин А. К. Исторический элемент в романе «Война и мир» // Минувшие годы. 1908. № 10. С. 70—92*).

Мережковским «слития двух „бездн“, о которых так много вокруг них говорится слов», его романы не дают.<sup>1</sup>

В книге Мережковского о Наполеоне Антихрист не занимает столь видного места, как в его трилогии. Фигурирует здесь иной, языческий образ, — Солнце, которому Мережковский уподоблял Наполеона еще в «Царстве Антихриста». «Солнечность» Наполеона проявляется прежде всего в том, что, победив Революцию, он снова вдохнул «во Францию исторгнутую из нее Революцией христианскую душу. Сам не верил, но знал, что без веры людям жить нельзя»; «Второе мирное дело Бонапарта — Кодекс». «Именно в этом смысле Наполеон, как утверждает Ницше, есть „последнее воплощение бога солнца Аполлона“; в смысле глубочайшем, метафизическом, он, так же, как бог Митра, Непобедимое Солнце, есть вечный *Посредник*, *Misotes*, Примиритель, Соединитель противоположностей — нового и старого, утра и вечера в полдне».<sup>2</sup>

Как могли быть связаны эти чрезвычайно возвышенные рассуждения с историческим процессом XX века, — сказать трудно. В 1921 г. Мережковский еще только ждал второго солнца, которое, следуя примеру Наполеона, разгонит новую «тучу потопную». В ком воплощалось для него это второе солнце в 1929 году, во время написания «Наполеона»? По всей вероятности, в Муссолини.

Несмотря на свое благоговение перед Наполеоном, Алданов, доживший до 1956 года, не рассчитывал в конце жизни на какого-либо великого человека, — спасителя мира. Мережковский умер во время войны, в 1941 году, сохранив до конца жизни веру в Муссолини, Гитлера или иное «солнце», способное победить Антихриста.

### В поисках «красного Толстого»

Толстовские темы занимали не только писателей, оказавшихся в эмиграции. Столь же важное значение сохранили они и в литературе Советской России.

Потребность в «красном Толстом», который с правильных, большевистских позиций осмыслил бы исторические события, приведшие к революции, ощущалась опекунами советской литературы с самого начала ее становления. Если левые литературные течения склонны были отвергать не только идеи, но и художественную систему Толстого, то «Правда», рапповская печать, «Красная Новь», «Новый мир» требовали учебы у классиков, и в первую очередь у Толстого.

Наиболее определенно следование «толстовской форме» для создания «нового содержания» проявилось в сочинениях Алек-

<sup>1</sup> Чуковский К. И. От Чехова до наших дней. 3-е изд. СПб., [1908—1909]. С. 200—212.

<sup>2</sup> Мережковский Д. С. Наполеон. Т. 2. С. 100—102.

сандра Фадеева. Фадеев мог отвергать и даже запрещать идейно неприемлемые сочинения Толстого, но как писатель Толстой оставался для него непревзойденным образцом. «Разгром» Фадеева, написанный после гражданской войны и опубликованный в 1927 г., старательно воспроизводит толстовский стиль, толстовский синтаксис, толстовский осторожный психологический анализ: «Мечик тоже бежал со всеми, не понимая, что к чему, но чувствуя даже в моменты самого отчаянного смятения, что все это не так уж случайно и бессмысленно и что целый ряд людей, не испытывающих, может быть, того, что испытывает он сам, направляет его и окружающих действия...» В главе, озаглавленной «Три смерти» (как и рассказ Толстого), в той же манере описывались размышления партизана, попавшего в плен: «Метеллица никак не мог поверить, что после всего, что он испытал в жизни, после всех подвигов и удач, сопутствовавших ему во всяком деле и прославивших его имя меж людей, — он будет в конце концов лежать и гнить, как всякий из этих людей...» Так же строилось и описание размышлений партизанского командира Левинсона: «В первое время, когда он, не имея никакой подготовки, даже не умея стрелять, вынужден был командовать массами людей, он чувствовал, что он не командует на самом деле, а все события развиваются независимо от него, помимо его воли. Не потому, что он нечестно выполнял свой долг, — нет, он старался дать самое большое из того, что мог... а потому, что в этот период его военной деятельности почти все его душевные силы уходили на то, чтобы превозмочь и скрыть от людей страх за себя, который он невольно испытывал в бою...»<sup>1</sup>

Но Фадеев не был бы советским писателем, одним из вождей РАПП'а, если бы он не пытался, говоря словами одного из рецензентов «Разгрома», «преодолеть внутреннюю сущность Толстого-художника посредством внешней манеры письма».<sup>2</sup> Будущему председателю Союза писателей в высшей степени было свойственно «суеверие устроительства» — стремление делать историю. Комиссар Левинсон, объяснял Фадеев, испытывал в начале затруднения «не потому, что он думал, что отдельному человеку не дано влиять на события, в которых участвуют массы людей, — нет, он считал такой взгляд худшим проявлением людского лицемерия, прикрывающим собственную слабость таких людей, то-есть отсутствие воли к действию...» В явной полемике с Толстым Фадеев приписывал своему герою «самую простую и самую нелегкую» мудрость: «Видеть все так, как оно есть и управлять тем, что есть», «создавать нового, прекрасного, сильного и доброго человека».<sup>3</sup>

Стилизацию «под Толстого», сопряженную с «преодолением его внутренней сущности» мы обнаруживаем не только у Фадее-

<sup>1</sup> Фадеев А. Разгром. М.; Л., 1928. С. 109, 172, 181—182.

<sup>2</sup> Правдухин Валерий. Молодое вино // Красная Новь. 1975. № 5. С. 236—243.

<sup>3</sup> Фадеев А. Разгром. С. 152, 153, 182.

ва, но и у целой плеяды советских писателей. Например, у К. Симонова — в сцене разговора Серпилина со Сталиным, когда Серпилин просит освободить из лагеря репрессированного командира, но Сталину припоминается, что этот человек уже расстрелян: «Если он ошибся и этого человека все-таки не расстреляли тогда, можно было теперь проверить это, освободить и послать его на фронт. Но он не любил проверять свою память, которой имел основание гордиться. Не любил не потому, что кто-нибудь мог выставить наконец ошибку его памяти, — мало кто бы на это решился, — а потому, что уже давно и беспощадно вытаптывая вокруг себя людей, он внутри созданной им самим пустоты одиноко вел счеты с самим собой и сам ставил себе в упрек ошибки памяти и вообще ошибки или, верней, то, что наедине с собой изредка соглашался считать своими ошибками...» Это почти пародия на толстовское описание Наполеона, но здесь нет никакой попытки ответить на вопросы, поставленные Толстым: какова была действительная роль данной исторической фигуры и что именно определяло действительный ход истории.<sup>1</sup>

Стилизация, естественно, не решала проблемы «красного Толстого». Продолжение «Войны и мира» ожидалось в области более масштабной исторической беллетристики. И в этом случае на роль продолжателя Льва Толстого больше всего, конечно, претендовал писатель, носивший ту же фамилию, — Алексей Николаевич Толстой. Тема, к которой обратился А. Толстой, также была связана с его великим однофамильцем: в 1870—1873 и 1877—1879 гг. Лев Толстой начал, но так и не завершил роман о Петре I.

К теме Петра I Алексей Николаевич Толстой обратился, по его свидетельству, в 1917 г. Наброски романа Льва Толстого о Петре, тогда еще не опубликованные, были Алексею Толстому, очевидно, неизвестны; основное влияние на него при разработке этой темы оказал, как он впоследствии сам отмечал, Мережковский.<sup>2</sup> В краткой повести «День Петра» не было, правда, «бездн» «верхней и нижней», но общий колорит повести был близок к роману Мережковского: «Строился царский город на краю земли, в болотах, у самой неметчины. Кому он был нужен, для какой муки, еще новой, надо было обливаться потом и кровью и гибнуть тысячами, — народ не знал...» И вместе с тем преобразования Петра здесь — дело одного великого человека: «Царь Петр, сидя на пустошах и болотах, одной своей страшной волей укреплял государство, перестраивал землю...» Та же тема и в заключении повести: «И время этого дня, и всех дней прошедших и будущих свинцовой тягой легло на плечи ему, взявшему непосильную человеку тяжесть: — одного за всех».<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Симонов К. Живые и мертвые. М., 1972. Кн. 2. С. 680.

<sup>2</sup> Толстой А. Полн. собр. соч. М., 1946—1949. Т. 9. С. 186; Т. 10. С. 684; Т. 13. С. 495.

<sup>3</sup> Толстой Алексей. Собр. соч. Берлин, 1924. Т. III. С. 57, 90.

Сходна по настроению и пьеса «На дыбе», написанная А. Толстым в 1928—1929 гг. «Двадцать лет стену головой прошибаю. . . Двадцать лет. . . Гора на плечах. . . Я — сына убил. Для кого сие? Миллионы народу я перевел. . . Много крови пролил. Для кого сие? . . . Что делать? Ум гаснет. . .» И в конце пьесы, во время наводнения, убедившись в измене жены и казнив ее любовника, Петр говорил: «Умирать буду — тебя не позову. Никого не позову. Сердце мое жестокое, и друга мне в сей жизни быть не может. . . Да. Вода прибывает. Страшен конец».<sup>1</sup>

Пьеса «На дыбе», поставленная во МХАТе 2-м, не получила благоприятных отзывов критики. Впоследствии А. Толстой утверждал, что пьеса была «встречена в штыки» РАППом, а «ее спас товарищ Сталин, тогда еще, в 1929 г., давший правильную историческую установку петровской эпохе».<sup>2</sup> Писалось это после 1932 года, когда РАПП был расформирован и предан анафеме; но ссылка на Сталина едва ли могла быть голословной. Какую-то «историческую установку» вождь народов А. Толстому, очевидно, дал, но какой именно она могла быть в 1929 году, сказать трудно. Очевидно, во всяком случае, что параллель между петровской эпохой и большевистской революцией должна была теперь заключаться не в утверждении жестокости и бесплодности того и другого, а, напротив, в доказательстве их исторической прогрессивности. Именно эта идея была положена в основу главной книги А. Толстого — романа «Петр Первый».

Начиная «Петра Первого», автор его исходил не из идей «Войны и мира» и незавершенного толстовского романа о Петре. Отправной точкой были для него совсем иные идеи. «Начало работы над романом совпадает с началом осуществления первой пятилетки. Работа над „Петром“ для меня прежде всего — вхождение в историю через современность, воспринимаемую марксистски», — писал А. Толстой, окончив первый том романа и приступая ко второму. «. . . Несмотря на различие целей, эпоха Петра и наша эпоха переключаются каким-то буйством сил, взрывами человеческой энергии и волей, направленной на освобождение от иноземной зависимости».<sup>3</sup>

Легко заметить, что такая навязанная «вхождением в историю через современность» апология петровской эпохи ничего общего не имела с представлениями Льва Толстого об исторической необходимости. Что именно понимал Алексей Толстой под «марксистским восприятием» истории? В 1929—1930 гг., когда он писал первый том романа, носителем марксистских идей в историографии считался еще М. Н. Покровский; важнейшими понятиями этой историографии были идеи классовой борьбы и экономического материализма. Алексей Николаевич откликнулся на обе эти темы. Уже в одной из первых глав «старик посадский» по-

<sup>1</sup> Толстой А. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 645, 643.

<sup>2</sup> Там же. С. 708; ср.: Т. 13. С. 535.

<sup>3</sup> Там же. Т. 9. С. 784—785.

нимал «великодушного казака Разина» и заявлял: «Бунтовать надо нынче, завтра будет поздно».<sup>1</sup> Последние слова подозрительно напоминали известное заявление Ленина накануне Октября.

Отдал автор «Петра» щедрую дань и концепции Покровского о царской власти как «торговом капитале в шапке Мономаха». «Его выдвинула буржуазия — говорил А. Толстой о Петре в беседе 1933 года. — ...Русский торговый капитал и начинающийся промышленный капитал».<sup>2</sup> «Иноземцы, бывавшие в Кремле, говорили с удивлением, что не в пример Парижу, Вене, Лондону, Варшаве, и Стокгольму — царский двор подобен более всего купеческой конторе... Золотошубные бояре, падменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в низеньких и жарких кремлевских покоях, что о торговых сделках на пеньку, поташ, ворвань, зерно, кожи... Спорили и лаялись о ценах, — читаем мы в романе. Сочетанием этих двух тем был финал первого тома романа: «Всю зиму были пытки и казни. В ответ вспыхивали мятежи в Архангельске, в Астрахани, на Дону и в Азове... В мартовском ветре чудились за балтийскими побережьями призраки торговых кораблей».<sup>3</sup>

Но несмотря на заданность общего построения, вытекавшего не столько из размышлений автора над историей, сколько из «марксистского восприятия» 1929—1933 гг. и из исторических аллюзий, первый том «Петра Первого» был все же наибольшей литературной удачей Алексея Толстого. У него не было философических замыслов Мережковского, но был зато куда более яркий изобразительный талант, умение воссоздавать образы и живую речь своих персонажей. Эти черты «третьего Толстого» побудили Ивана Бунина вскоре после выхода «Петра» послать своему давнему знакомцу открытку с довольно двусмысленным комплиментом: «Алешка. Хоть ты и сволочь, мать твою... но талантливый писатель».<sup>4</sup>

В 1933—1934 гг. А. Толстой вновь обратился к теме Петра, написав второй том романа, сочинив новый вариант пьесы о нем и воплотив тот же сюжет в кино. Новая, вторая редакция пьесы о Петре именовалась уже не «На дыбе», а «Петр Первый»; мрачный финал с наводнением был исключен, и сюжет обрел мажорное звучание. Еще более радикальные изменения были вынесены в сценарий фильма, поставленного в 1937 г. Как и в пьесе, действие доводилось здесь до последних лет правления Петра; изображена была Полтавская битва, во время которой Петр кричал солдатам: «Порадейте, товарищи, Россия вас не забудет!» Иностранцы, описанные в первом томе «Петра» обычно с симпатией, здесь — сплошные злодеи: философ Лейбниц оскорбляет русских; из подслушанного на корабле разговора Петр узнает, что герман-

<sup>1</sup> Там же. С. 46—47.

<sup>2</sup> Там же. Т. 13. С. 497.

<sup>3</sup> Там же. Т. 9. С. 71, 233—235, 338.

<sup>4</sup> *Седых А.* Далекое, близкое. 1979. С. 210. Отрывок из статьи Бунина «Третий Толстой» см.: *Бунин И. А.* Собр. соч. М., 1967. Т. 9. С. 433—445.

ский посол хочет свергнуть царя и заменить его царевичем Алексеем; английский флот готовится помочь шведскому. Сугубо злободневной была в 1937 году сцена осуждения Алексея за измену родине единогласным приговором сената: «Повинен смерти». Кончается сценарий полной победой над шведами и встречей Петра со стариком, вспоминающим (в 1721 г.!) Минина и Пожарского, и речью Петра: «Суров я был с вами, дети мои. Не для себя я был суров, но дорога мне была Россия... Не напрасны были наши труды, и поколения нашим надлежит славу и богатство отечества нашего беречь и множить».<sup>1</sup> Актуальные дополнения из сценария вошли и в третью, последнюю редакцию пьесы о Петре, созданную в 1938 г.: здесь была и Полтава, и сцена коллегиального осуждения Алексея, и беседа с древним старцем, и заключительная речь Петра.<sup>2</sup>

В отличие от пьесы и сценария, роман не был доведен А. Толстым до Полтавы и Ништадтского мира; третья книга, написанная в 1944—1945 гг., заканчивалась победой под Нарвой. Но в основе ее лежала та же апологетическая концепция, которую писатель прочно усвоил в 1933—1938 гг. Он мог теперь с легким сердцем отказаться от навязанной ему темы классовой борьбы, заменив ее сугубо патриотическими настроениями. После первой, неудачной осады Нарвы Петр заявлял: «От битья железо крепнет, человек мужает»; замечание иностранного инженера о непроходимости болот под Юрьевом царь отвергал с негодованием: «Для кого болото непроходимо?.. Для русского солдата все проходимо...» Тот же мотив повторялся при описании второй, успешной осады Нарвы. Фельдмаршал Огильви, командовавший русскими войсками, утверждал, что «русский солдат это пока еще не солдат, а мужик с ружьем». Петр, приказавший взять город за неделю, объяснил иностранцу, что «русский мужик — умен, смышлен, смел... А с оружием — страшен врагу». Помогал Петр автору и в разрешении другой проблемы весьма актуальной в конце 1944-го и в 1945 г., когда советские войска вступили на неприятельскую территорию. Как раз в эти годы А. Толстой в составе комиссии, призванной решить вопрос о расстрелах польских офицеров в Катынском лесу, подписал заключение, согласно которому пленных расстреляли не советские, а немецкие войска. Заканчивая «Петра», писатель решил осветить именно тему взаимоотношений победоносного русского войска с поверженным неприятелем. Не русский солдат после взятия Нарвы обижал жену коменданта города графа Горна, а именно эта дама «вцепилась в плосколицего солдата, вытащила его из сеней... царапала ему щеки, кусала его». Петр же велел прекратить грабеж, который учиняли в завоеванном городе «свои жители», и приказал провести пленного Горна «пешим, через весь город,

<sup>1</sup> Толстой А., Петров В., Лещенко Н. Петр Первый. Киносценарий. М., 1938. С. 35, 120, 152—156, 170—172.

<sup>2</sup> Толстой А. Полн. собр. соч. Т. 10. С. 330, 354—356, 358.

дабы увидел печальное дело рук своих...» Нелишне напомнить, что незадолго до написания этих строк пленные немецкие офицеры были демонстративно проведены через Москву.<sup>1</sup>

В сущности, никакой идеи исторического процесса ни в романе, ни в пьесах и сценарии о Петре I не было — ни толстовского интегрирования «дифференциалов истории», ни алдановского «Его величества случая», ни «Верхней и Нижней бездны» Мережковского. Была только «страшная воля» Петра, в первых версиях ведущая в тупик, а в последующих — создающая непреходящую «славу и богатство» отечества.

Те же переделки испытала и другая историческая эпопея Алексея Толстого — «Хождение по мукам». Исходная тема книги была выражена в ее названии, воспроизводившем название древнерусского апокрифического памятника «Хождение Богородицы по мукам»: страдания, перенесенные дворянской интеллигенцией в годы революции. В своем первоначальном виде книга была написана в эмиграции, в 1919—1922 гг., и охватывала время с 1914-го по лето 1917 г. Никакой симпатии к революции она не обнаруживала. Волнения среди рабочих в предреволюционные годы связывались в книге с появлением на заводах неких «молодых людей, посылаемых невидимыми друзьями», которые от имени «Центрального Комитета Рабочей Партии» призывали: «Не навидьте и организуйтесь. Вам внушали — любите ближнего... Вы одурачены». В конце романа один из героев, Роцин, идет по Каменноостровскому проспекту, где «глава партии... призывал к свержению, разрушению и равенству», и «у оборванных личностей загорались глаза, чесались руки».<sup>2</sup>

После завершения романа у Алексея Толстого появилась мысль продолжить его. Вернувшись в Россию из эмиграции, он решил обратиться к роману (теперь получивший название «Сестры») в трилогию и в 1927—1928 гг. написал вторую книгу — «Восемнадцатый год» (изданную первоначально тоже в Берлине). Здесь уже второй герой романа, Телегин, оказывался в Красной армии (куда переходил от белых и Роцин), фигурировал Ленин («председательствующий»), и книга кончалась описанием наступления большевиков против самарского Комитета Учредительного собрания: «По приказу Центрального комитета были мобилизованы в Москве и Петрограде несколько десятков крупнейших товарищей и в поезде Троцкого отправлены под Свияжск... Там была брошена едва ли не последняя ставка на бытие революции... Отвага и доблесть стали обязанностью...»<sup>3</sup>

Но «философия истории» первой книги трилогии и даже второй книги вскоре потребовала изменений. Роман «Сестры» был переделан уже в первом советском издании 1925 г. и продолжал

<sup>1</sup> Там же. Т. 9. С. 657, 753, 771—773, 777—780.

<sup>2</sup> Толстой, гр. Алексей Н. Хождение по мукам. Берлин, [1922]. С. 120, 455—456.

<sup>3</sup> Толстой А. Восемнадцатый год. Берлин, 1928. С. 368.

переделываться потом. Текст прокламации «Рабочей партии», призывающий к ненависти, был исключен; Ленин в особняке Кшесинской перестал призывать к разрушению, а требовал «немедленно кончать войну и устанавливать у себя и во всем мировом справедливый порядок».<sup>1</sup> Аналогичных изменений потребовал и «Восемнадцатый год», хотя он был написан уже в Советской России. Наряду с упоминанием «поезда Троцкого» в первом варианте содержалось еще одно опасное место, где описывалось, как «председательствующий» (Ленин), прежде чем произнести свою программную речь, «перебросил записочку третьему слева, поблескивающему стеклами пенснэ». В последующие годы А. Толстой изменил оба этих криминальных места, выбросив «поезд Троцкого» и побудив Ленина «перебросить записочку» «худощавому, с черными усами, со стоячими волосами».<sup>2</sup>

Но этого было явно недостаточно. И в том же 1937 г., когда писатель резко изменил свою трактовку Петра, он пошел на более радикальные изменения описания гражданской войны. Он не стал писать третью книгу трилогии, а сочинил вместо нее повесть «Хлеб», где уже не было ни Рощина, ни Телегина, ни их жен — Кати и Даши, но были Сталин, Ворошилов и оборона Царицына, которая, как уяснил теперь А. Толстой, играла «главную и основную роль... в борьбе революции с контрреволюцией».<sup>3</sup> Только после того как «Хлеб» был опубликован, в 1940—1941 гг. писатель завершил трилогию. В нее был введен герой «Хлеба» — большевик Иван Гора; действовали Сталин, Ворошилов, Буденный, Орджоникидзе. Кончался роман сценой в Большом театре, где Даша спрашивала: «Где Ленин?», а Рощин показывал ей Ленина, и, конечно, Сталина — того, «кто разгромил Деникина».<sup>4</sup>

Все эти чуткие отклики на внешнюю и внутреннюю политику СССР представляют, вероятно, интерес для уяснения истории соответствующего периода и для понимания личности и биографии писателя. Но никакого осмысления истории ни в романах, ни в поздних сочинениях «третьего Толстого» не было. Такими вопросами он просто не задавался.

## Человек и история: Булгаков, Тынянов и Гроссман

В 1923—1924 гг., когда Алексей Толстой, вернувшийся в Россию, принялся за первые переделки «Хождения по мукам», Михаил Булгаков написал роман о гражданской войне — «Белую гвардию».

<sup>1</sup> Толстой А. Полн. собр. соч. М., 1947. Т. 7. С. 81, 285—286.

<sup>2</sup> Толстой А. 1) Восемнадцатый год. С. 23; 2) Полн. собр. соч. Т. 7. С. 305, 597.

<sup>3</sup> Толстой А. Полн. собр. соч. М., 1947—1950. Т. 8. С. 403—662, 667—669; Т. 14. С. 376—378.

<sup>4</sup> Толстой А. Н. Там же. Т. 8. С. 398.

Исходные политические позиции Булгакова и Алексея Толстого были одинаковыми: оба они сочувствовали белым и призывали к победе над красными. Статья Булгакова «Грядущие перспективы», написанная в разгар деникинского наступления 1919 г., до нас дошла: в ней автор призывал к победе «героев-добровольцев».<sup>1</sup>

Гражданская война закончилась не так, как хотелось А. Толстому и М. Булгакову. Но если для А. Толстого этот исторический факт послужил лишь причиной кардинальной смены позиций, то Булгаков отнесся к проблеме со всей серьезностью: он попытался ответить на вопрос, почему белые потерпели поражение. И в поисках такого ответа он в значительной степени обращался именно ко Льву Толстому. В очерке 1923 года «Киев-город» Булгаков писал: «Когда небесный гром (ведь и небесному терпению есть предел) убьет всех до единого современных писателей, и явится лет через 50 настоящий Лев Толстой, будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве».<sup>2</sup> Булгаков, очевидно, не относил эти слова к той книге, которую он тогда писал, не дожидаясь истечения пятидесяти лет, — к «Белой гвардии», но влияние Льва Толстого на «Белую гвардию» очевидно. Сходство с «Войной и миром» было сразу же отмечено критикой: семейство Турбиных в романе Булгакова во многом напоминает семейство Ростовых, а юный Николка — Петю Ростова; Тальберг похож на толстовского Берга. Под явным влиянием Толстого написана заключительная глава романа, где маленькому Петьке Щеглову снится сон, схожий со сном Пьера Безухова в «Войне и мире», и возникает излюбленная толстовская тема вечных звезд, сияющих над миром. О влиянии Толстого на «Белую гвардию» (и на «Дни Турбиных») сам Булгаков заявлял в Письме правительству 1930 г., отмечая, что «дворянская интеллигентская семья» в романе и пьесе изображена «в традициях „Войны и мира“».<sup>3</sup>

Восприняв образную тему «Войны и мира», Булгаков воспринял и толстовские взгляды на историю.<sup>4</sup> Рассказывая о наступлении Петлюры на Город (Киев) и о всеобщих толках об этой личности, автор снова и снова заявлял, что Петлюра — «чепуха, легенда, мираж»: «— Вздор-с все это. Не он — другой. Не другой — третий... Миф. Миф Петлюра. Его не было вовсе. Это миф, столь же замечательный, как миф о никогда не существовавшем Наполеоне, но гораздо менее красивый».<sup>5</sup> Упоминание о Наполеоне прямо ведет нас к Толстому, к «Войне и миру». Конечно,

<sup>1</sup> Булгаков М. Под пятой. Мой дневник. М., 1990. С. 44—45.

<sup>2</sup> Булгаков М. А. Собр. соч.: В 5 т. М., 1989—1990. Т. 2. С. 307.

<sup>3</sup> Там же. Т. 5. С. 32; ср.: Там же. Т. 1. С. 427—428, 563—572, 590.

<sup>4</sup> Ср.: Levin V. Michail Bulgakov und Lev Tolstoj: Ein Beitrag zur Rezeptionsgeschichte von «Krieg und Frieden» // Die Welt der Slaven. XXV (NF. IV). (1980). S. 347—337; Luria J. (Ya. S. Lur'e). Michail Bulgakov and Lev Tolstoy // Oxford Slavonic Papers. 1990. N. S., v. XXIII. P. 67—78.

<sup>5</sup> Булгаков М. А. Собр. соч. Т. 1. С. 231, 238—239.

Булгаков так же не сомневался в исторической реальности Петлюры, как Толстой — в реальности Наполеона. Но обоих этих деятелей они считали, употребляя терминологию Толстого, лишь «ярлыками», за которыми скрывалось подлинное движение истории; дело было не в них.

Но если не в них, то в чем же? В 1919 г. ответ на этот вопрос казался Булгакову ясным. Существует мир зла, и противостоящий ему мир добра — «герои-добровольцы», готовые отвоевать «собственные столицы». Но отвоевать «собственные столицы» добровольцам не удалось.

Как воспринимал эти события Булгаков в 1923—1924 гг., когда писал «Белую гвардию»? Одна из наиболее характерных особенностей этого романа — критическое отношение автора к былым настроениям той среды, к которой он сам принадлежал в 1918—1919 гг. Нелепый и комический характер носит не только заявление Шервинского о чудесно спасшемся Николае II, оказавшемся во дворце Вильгельма II (тоже, кстати, уже свергнутого) и обещавшем офицерам, что он лично станет во главе армии и поведет ее «в сердце России — в Москву». Не без проники изображен и сам двойник прежнего Булгакова — доктор Алексей Турбин. Он умнее других и понимает серьезность происходящего, но также преисполнен иллюзий. Речь Алексея за столом почти буквально повторяет булгаковские слова из «Грядущих перспектив», но воспринимается автором уже со стороны: «— Мы бы Троцкого прихлопнули в Москве, как муху... Турбин покрылся пятнами, и слова у него вылетали изо рта с тонкими брызгами слюны. Глаза горели...» Так же изображен и конец застолья, с исполнением царского гимна и тяжелой рвотой в «узком ущелье-маленькой уборной».<sup>1</sup>

В чем же видел Булгаков в «Белой гвардии» основную причину поражения белой армии? Причина эта — лютая ненависть. Было четыреста тысяч немцев, а вокруг них четырежды сорок раз четыреста тысяч мужиков с сердцами, горящими неутолимой злобой... И реквизированные лошади, и отобранный хлеб, и помещики с толстыми лицами, вернувшиеся в свои поместья при гетмане, — дрожь ненависти при слове „офицерня“... и мужицкие мыслишки о том, что никакой этой панской, сволочной реформы не нужно, а нужна та вечная, чаемая мужицкая реформа: — Вся земля мужикам...»<sup>2</sup>

Описывая «корявый мужичонков гнев» Булгаков прямо обращался к толстовскому образу: «В руках он нес великую дубину, без которой не обходится никакое начинание на Руси...»

Стремления миллионов крестьян, их «однородные влечения», употребленные выражение Толстого, находились в непримиримом противоречии со стремлениями белой армии. И осознание этого факта заняло важное место в мировоззрении Булгакова.

<sup>1</sup> Там же. С. 188, 209—213.

<sup>2</sup> Там же. С. 230, 237.

Но осознание неизбежности поражения белых не означало для Булгакова, в отличие от А. Толстого, приятия революции. В письме Советскому правительству 1930 г. Булгаков выражал «глубокий пессимизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране», и противопоставлял ему идеал «излюбленной и Великой эволюции». Но эволюция, о которой он мечтал, не происходила или совершалась совсем не так, как это хотелось писателю, мечтавшему о свободе печати и уничтожении «цензуры, какой бы она ни была и при какой власти она ни существовала».<sup>1</sup> «Революционный процесс» кончился, но в стране — чем дальше, тем прочнее — устанавливался тоталитарный режим.

Что же мог делать и как должен был поступать человек перед лицом этих исторических событий? Если войны и революции не совершались по воле отдельных людей, то тем менее подчинялась им «Великая эволюция». Бессилие отдельного человека, бессилие художника перед властью, подавлявшей всех и делавшей невозможной художественное творчество, — основная тема Булгакова после 1929 г. Теме этой посвящен и «Мольер» (роман и пьеса), и «Пушкин (Последние дни)», и другие пьесы.

Положение Булгакова в окружавшем его обществе во многом отличалось от положения Льва Толстого. Как и Толстой, Булгаков ощущал безнравственную природу власти. Слова Иешуа в «Мастере и Маргарите»: «Всякая власть есть насилие над людьми и... придет время, когда не будет ни власти Цезарей, никакой другой власти»<sup>2</sup> — совпадают с идеями Толстого, восходившими, в свою очередь, к Нагорной проповеди. Но толстовский принцип: «Делай, что ты должен делать, и пусть будет, что будет» — был гораздо более осуществим во время Толстого, чем во время Булгакова. Конечно, и Толстой чувствовал невозможность полного достижения своих нравственных целей — недаром он просил посадить его, как делали с его последователями, «в тюрьму, в хорошую, настоящую тюрьму, вонючую, холодную, голодную» (78, № 79, 88.), недаром в конце жизни он ушел из дома. И все же свое главное дело он мог делать: его статьи против власти, патриотизма и войны, против официальной церкви, запрещенные на родине, переписывались во множестве экземпляров и публиковались за границей.

Мировоззрение Толстого, сочетавшее рационалистический детерминизм в истории с нравственным категорическим императивом для отдельного человека, было в конечном счете гармонично.

Иными были судьба и мировоззрение Михаила Булгакова. Ему никогда не приходилось чувствовать присущий Толстому стыд из-за своей богатой и благополучной жизни. Уже с начала писательской деятельности он испытал все те же лишения, что и большинство людей в годы гражданской войны. Один из глав-

<sup>1</sup> Там же. Т. 5. С. 447; ср.: Новый мир. 1987. № 8. С. 196.

<sup>2</sup> Там же. Т. 5. С. 32.

ных мотивов «Белой гвардии» и «Дней Турбиных» — попытка сохранить некий уголок уютной жизни. Среди всеобщего разрушения и нечеловеческих условий существования хотелось обрести хоть какие-то жизненные блага.

Не менее трудные задачи стояли перед Булгаковым как писателем. С самого начала своей писательской деятельности он стремился осуществить то, к чему обязывало, по его мнению, «явление Льва Николаевича Толстого», — «быть безжалостно жестоким к себе».<sup>1</sup> Но вскоре он должен был убедиться, что ни печатать, ни ставить на сцене того, что он хочет, ему не дают. Печататься за границей, как делал Лев Толстой? Некоторые попытки в этом направлении Булгаков предпринимал, но уже с конца 20-х годов это стало считаться преступным делом и грозило «хорошей, настоящей тюрьмой», а то и чем-нибудь похуже. Писать «в стол»? В конце концов он так и стал делать, но о гармоническом мироощущении в этих условиях думать не приходилось.

Тема противостояния человека и истории, человека и власти, завершилась в последней, «изумительной книге» Булгакова, написанной уже не о Киеве, а о Иерусалиме, Москве и обо всем мире, — в «Мастере и Маргарите». Тема необходимости проходит через весь роман, но это не только историческая необходимость, параллельно с которой существует нравственная свобода человека, а необходимость всеохватывающая, из которой нет рационального выхода. Отсюда и «увлечение нечистой силой», в котором ныне упрекают Булгакова,<sup>2</sup> и финал романа, где Сатана-Воланд дарует его героям не «свет», а всего лишь «покой».

Почти в то же время, что и Булгаков, к теме исторической необходимости, подчиняющей себе свободную волю человека, обратился другой писатель — Юрий Тынянов.

В отличие от врача Булгакова, пришедшего к историческим темам ради осмысления своего жизненного опыта, Тынянов был по образованию гуманитаром и стал сперва исследователем — историком и филологом, а затем уже писателем.

Но большого интереса к историческим воззрениям Толстого Тынянов в начале писательской деятельности не обнаруживал. В кругах формалистов (деятели ОПОЯЗа — Общества по изучению поэтического языка) взгляды Толстого на историю не воспринимались серьезно — коллега и друг Тынянова, Б. М. Эйхенбаум, который был большим знатоком творчества Толстого, считал, как мы видели, что философия истории Толстого была «архаична» и «антиисторична». Не придавал большого значения историософии Толстого и другой сподвижник Тынянова по ОПОЯЗу — В. Шкловский.

---

<sup>1</sup> Воспоминания о Михаиле Булгакове. М., 1988. С. 155—156.

<sup>2</sup> *Солженицын* А. Бодался телеспок с дубом // *Новый мир*. 1991. № 7. С. 107.

Исторические рассуждения в первом романе Тынянова «Кюхля» сходны не с историческими отступлениями в «Воине и мире», а скорее с «Петербургом» Андрея Белого. Причины восстания и обстоятельства поражения декабристов связываются здесь с планировкой Петербурга: «Петербургские революции совершались на площадях: декабрьская 1825 г. и февральская 1917 г. произошли на двух площадях. . . Для Петербурга естествен союз реки с площадями, всякая же война внутри его неминуемо должна обратиться в войну площадей. . .»<sup>1</sup>

Тема необходимости, противостоящей человеческой свободе, стала основной темой наиболее значительной книги Тынянова — романа «Смерть Вазир-Мухтара» (1927). Главный герой романа — Грибоедов, но не Грибоедов — автор «Горя от ума», близкий к декабристам, а Грибоедов после декабристского восстания. Этого Грибоедова Тынянов в письме Горькому назвал «самым грустным человеком 20-х годов».<sup>2</sup>

Автор так и не напечатанной и не поставленной на сцене комедии избег осуждения по делу декабристов, успешно продолжил свою государственную службу, стал дипломатом, составителем Туркманчайского договора с Персией, а затем и чрезвычайным послом, «Вазир-Мухтаром», в побежденной стране. Он усердно помогает своему свойственнику, командующему русской армией Паскевичу и отстранился от своего прежнего покровителя, Ермолова. Он обедает в обществе «новых знакомцев» — Сухошета, пустившего в ход артиллерию против декабристов, Левашева, Чернышева и Бенкендорфа, осудивших их, и Голенщцева-Кутузова, повесившего Рылеева с товарищами. Все они напоминают ему персонажей «Горя от ума». «. . . А кто ж тут Молчалин? Ну что ж, дело ясное, дело простое: он играл Молчалина».<sup>3</sup>

Но Грибоедов не смирился с ролью Молчалина. Он хочет делать историю — создать Закавказскую Мануфактурную Компанию, своего рода государство в государстве, подобное Ост-Индской компании, ставшей основой Британской колониальной империи. Паскевич передает проект Грибоедова для отзыва служащему у него Бурцеву, бывшему декабристу «. . . Что же из вашего государства получится? Куда приведет оно? К аристократии богатств, к новым порабощениям? Вы о цели думали?» — спрашивает Бурцев Грибоедова. «А вы, — спрашивает Грибоедов декабриста, — . . . о цели думали? Хотите, скажу вам, что у вас получилось бы? . . . Вы бы как мужика освободили? Вы бы хлопотали, а деньги бы плыли. . . И сказали бы вы бедному мужику российскому: младшие братья. . . временно, только временно, не угодно ли вам на барщине поработать?» Планам декабристов Грибоедов противопоставляет свой план — капиталистического развития, но

<sup>1</sup> Тынянов Ю. Собр. соч.: В 3 т. М.; Л., 1959. Т. 1. С. 221—223. Ср.: Белый Андрей. Петербург. М., 1978. С. 23—24, 34—36, 45.

<sup>2</sup> Письмо Тынянова Горькому от 21 февраля 1926 г. Цит. по: Белингов А. Юрий Тынянов. 2-е изд. М., 1965. С. 271.

<sup>3</sup> Тынянов Ю. Собр. соч. Т. 2. С. 119.

Бурцев отвергает его, потому что создание Компании в русских условиях означает отправление «крестьян российских» на «нездоровые места» Кавказа, «как скот, как негров, как преступников... в яму! С детьми! С женщинами!»<sup>1</sup>

Оба варианта «устроительства» оказываются нереальными и жестокими. Вместо создания «Закавказской Компании» Грибоедов должен ехать в Персию — на верную гибель.

Замечал это Тынянов или не замечал, но в решении вопроса об исторической необходимости и попытках делать историю он сходиллся с Толстым.

Особенно острыми оказывались у Тынянова высказывания, связывающие его уже не столько с «Войной и миром», сколько с поздним Толстым — Толстым «Исповеди», статей о патриотизме и «Хаджи-Мурата». Это рассуждения о верности родине и об измене.

Тынянов писал, что уже за столетие до Грибоедова «слово „измена“ казалось взятым из оды или далекого предания...» «Измена стала словом военным и применялась только в том случае, если человек изменял один раз — двукратная измена переходила в разряд дел дипломатических... Тынянов вспоминал друга Грибоедова — Фаддея Булгарина: «Фаддей, верный и любимый друг Александра Сергеевича, русский офицер, передан французам, сражался против русских в 1812 году, попал в плен к своим и стал русским литератором. Восемь лет сделало измену распливчатым делом, пригодным для журнальной полемики». Тынянов рассказывал в связи с этим о Ходжи-Мирзе-Якубе, армянине Якубе Маркаряне, взятом в плен персами, оскотинном, ставшим одним из главных евнухов шаха: «Границы евнуха Ходжи-Мирзы-Якуба замешались. Он был тегеранским человеком, но основным местом его жительства была снова Эривань...» Еще более абсурдным делалось понятие «измены» в применении к Самсон-Хану, бывшему русскому вахмистру Самсону Макинцеву. Самсон писал Грибоедову: «Родина моя, в которой я родился, есть Россия. В этой самой родине я получил при покойной императрице тысячу палок да вдругорядь, при его величестве императоре Павле, 2500 шпицрутенгов... Рубцы ношу я сей поры на теле, хотя мои годы теперь не молодые! Прошу вас, милостивый государь мой, теперь сообразите, какая является моя родина...»<sup>2</sup> Грибоедов, в соответствии с Туркманчайским договором, взял под свое покровительство Якуба Маркаряна и потребовал выдачи Самсона Макинцева, «нового Стенки», к которому «русские солдаты... перебежали сотнями».<sup>3</sup>

Именно эти требования оказываются последним толчком к «джахату», священной войне против русских, разгрому русского посольства и гибели Вазир-Мухтара.

<sup>1</sup> Там же. С. 268—271.

<sup>2</sup> Там же. С. 82—83, 391—393.

<sup>3</sup> Там же. С. 84.

На всем протяжении романа Тынянов показывает бессилие Грибоедова перед ходом истории: поражение декабристов, победа Николая, невозможность напечатания «Горя от ума», война, дипломатия, необходимость служить одному государству против другого. По справедливому замечанию А. Белинкова, «в романе Тынянова нет свободы воли, нет выбора, все в нем предрешено и предназначено, и поэтому, независимо от своих природных качеств, человек становится таким, каким его делает время».<sup>1</sup> Особенно резко идея всеобщей предрешенности, не имеющей ничего общего с разумом и справедливостью, высказана в следующем пассаже «Смерти Вазир-Мухтара»: «Не было власти на земле... И спал за звездами в тяжелых окладах, далекий, необычайно хитрый император императоров, митрополит митрополитов — Бог. Он посылал болезни, поражения и победы, и в этом не было ни справедливости, ни разума, как в действиях генерала Паскевича».<sup>2</sup>

Этот пассаж, более всего перекликавшийся с идеями любимого писателя Тынянова Генриха Гейне, казалось бы, противоречил взглядам Толстого, иначе воспринимавшего идею Бога. Но он не противоречил толстовскому взгляду на историческую необходимость: ведь и для Толстого слова «сердце царево в руде Божией» означали лишь то, что царь есть «раб истории», т. е. «бессознательной, роевой жизни человечества». А в направлении этой «роевой жизни» и для Толстого «не было ни справедливости, ни разума».

Справедливость и разум присущи, согласно Толстому, не историческому движению, а сознанию и воле людей, способных «делать то, что должно» вопреки истории. Возможность эта становилась во времена Булгакова и Тынянова во многом призрачной. Отсюда — глубокий пессимизм обоих писателей.

Это общая черта всей подлинной литературы Советской России, противостоявшей официальному оптимизму. Такими же настроениями было проникнуто и окончание «Тихого Дона», вопреки всей казенной лжи, которую написал Шолохов в отдельные места. Григорий Мелехов, не нашедший себе места ни среди белых, ни среди красных, ни среди казаков-повстанцев, преследуемый всеми властями, возвращается домой, чтобы, рискуя жизнью, повидать сына: «Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще родило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».<sup>3</sup>

Те же настроения мы находим и в книгах Василия Гроссмана. Роман-эпопея о Сталинградской битве, начатый писателем в последний год войны, пережил весьма примечательную эволюцию. Первая его книга, «За правое дело», могла бы быть причислена ко множеству советских романов, написанных «под Толстого», —

<sup>1</sup> Белинков А. Юрий Тынянов. 2-е изд. М., 1965. С. 183.

<sup>2</sup> Тынянов Ю. Собр. соч. Т. 2. С. 282.

<sup>3</sup> Шолохов М. Собр. соч.: В 8 т. М., 1962. Т. 5. С. 463.

это была развернутая эпопея, повествовавшая о судьбах многих людей; военные сцены перемежались со сценами повседневной жизни. Повествуя об участнике войны, старом большевике Мостовском, автор передавал его размышления о движении истории: «Движение было во всем, в почти геологическом изменении пейзажа, в огромности охватившего страну просвещения... За короткие годы материальные отношения совершили могучий скачок. Новая, Советская Россия прыгнула на столетие вперед; она меняла то, что казалось неизменным, — свое земледелие, свои дороги, русла рек... Исчезли, разбитые и развеянные революцией, истаяли огромные слои людей, составлявшие костяк эксплуататорских классов и тех, кто обслуживал их...»<sup>1</sup>

Ничто в романе не противостояло официальной советской идеологии, не давало оснований усомниться в том, что именно эта идеология воплощала в себе борьбу «за правое дело». Тем не менее роман, опубликованный в 1952 году, был осужден в пору борьбы с «космополитизмом» и объявлен «идеологической диверсией». После смерти Сталина эти обвинения были сняты, и ободренный этим автор написал в 1960 г. вторую книгу романа, озаглавив ее «Жизнь и судьба». Но этой книге не повезло и в постсталинские времена — текст ее был передан редактором журнала в КГБ, конфискован и лишь после смерти автора обнаружен и опубликован. Другая книга Гроссмана, написанная в те же годы, «Все течет...», уже не предназначилась для печати и пошла в «самиздат».

Судьба послевоенных книг В. Гроссмана закономерна — в них автор уже ни в какой мере не приспособлялся к цензуре, а писал все то, что он хотел высказать.

В чем же основная идея обеих книг? Тема их — «массовый забой людей» в XX веке: «...первая половина двадцатого века войдет в историю человечества как эпоха поголовного истребления огромных слоев европейского населения, основанного на социальных и расовых теориях... Одной из самых удивительных особенностей человеческой природы, вскрытой в это время, оказалась покорность... Миллионы невинных, чувствуя приближение ареста, заранее готовили сверточки с бельем, полотенчиком, заранее прощались с близкими. Миллионы жили в гигантских лагерях, не только построенных, но и охраняемых ими самими. И уже не десятки тысяч, а десятки миллионов людей, а гигантские массы были покорными свидетелями уничтожения невинных. Но не только покорными свидетелями: когда велели, голосовали за уничтожение, гулом голосов выражали одобрение массовым убийствам... Насилие тоталитарного государства так велико, что оно перестает быть средством, превращается в предмет мистического, религиозного поклонения, восторга... Чем иным можно объяснить то, что поэт, крестьянин от рождения, наделенный разумом и талантом, пишет с искренним чувством поэму,

---

<sup>1</sup> Гроссман В. За правое дело. М., 1954. С. 47.

воспевающую кровавую пору страданий крестьянства, пору, по-  
жравшую его честного и простодушного труженика-отца».<sup>1</sup>  
«Ошибочно мнение, что дела времен коллективизации и времен  
ежовщины — бессмысленные проявления бесконтрольной и без-  
граничной власти, которой обладал жестокий человек. В действи-  
тельности кровь, пролитая в тридцатом и тридцати седьмом году,  
была нужна государству, как выражался Сталин, — не прошла  
даром. Без нее государство бы не выжило». Основой «нового  
уклада являлся его государственно-национальный характер»,  
идеология «государственного национализма».<sup>2</sup>

С этим выводом связана одна из самых важных идей романа  
«Жизнь и судьба» — идея тождества фашизма и советского ком-  
мунизма. Сходна система истребления людей по принципу их  
национальной или социальной принадлежности; сходна лагерная  
система. Гестаповец Лисс говорит об этом заключенному ком-  
мунисту Мостовскому в гитлеровском лагере: «Когда мы смотрим  
в лицо друг другу, мы смотрим не только на ненавистное лицо,  
мы смотрим в зеркало. . . Если победите вы, то мы и погибнем,  
и будем жить в вашей победе. . . Мы форма единой сущности —  
партийного государства. Наши капиталисты — не хозяева. Госу-  
дарство дает им план и программу. . . Ваше партийное государ-  
ство тоже определяет план, программу, забирает продукцию. Те,  
кого вы называете рабочими, — тоже получаю<sup>т</sup> заработную плату  
от вашего партийного государства. . .»<sup>3</sup>

Гроссман явно понимал, что тоталитаризм вовсе не был создан  
одним или несколькими злодеями. Он писал о «мегатоннах до-  
носной лжи», которые «предшествовали ордеру на арест, сопут-  
ствовали следствию. . . определяли имена и списки раскулачен-  
ных, лишенных голоса, паспорта, расстреливаемых».<sup>4</sup> Одна из  
наиболее ярких фигур романа — бригадный комиссар Гетманов,  
секретарь обкома, человек, обязанный карьерой тридцать седь-  
мому году; фигурирует в нем и ряд других подобных персона-  
жей. Гроссман писал, что ни Гитлер, ни Сталин не определяли  
хода истории, что «великий Сталин» — «раб времени и обстоя-  
тельств, смирившийся покорный слуга сегодняшнего дня, распах-  
ивающий двери перед новым временем».<sup>5</sup>

Толстовская идея исторической закономерности, толстовское  
отрицание роли «великих людей», — все это ясно ощущается в по-  
следних книгах Гроссмана. Вслед за Толстым он отвергал пред-  
ставление о величии и «гениальности» полководцев: «Определе-  
ние гениальности можно отнести лишь к людям, которые вносят  
в жизнь новые идеи. . . История битв показывает, что полководцы  
не вносят новых принципов в операции по прорыву обороны,

<sup>1</sup> Гроссман Василий. Жизнь и судьба. М., 1988. С. 196—198.

<sup>2</sup> Гроссман Василий. Все течет. . . Посев, 1970. С. 193; Жизнь и судьба.  
С. 622—623.

<sup>3</sup> Гроссман Василий. Жизнь и судьба. С. 370—372.

<sup>4</sup> Гроссман Василий. Все течет. . . С. 59—71.

<sup>5</sup> Гроссман Василий. Жизнь и судьба. С. 788.

преследования, окружения, выматывания, — они применяют и используют принципы, известные еще людям неандертальской эры. . . Нелегко отрицать значение для дела войны генерала, руководящего сражением. Однако неверно объявлять генерала этнонимом. В отношении способного инженера-производственника это глупо, в отношении генерала не только глупо, но и вредно, опасно».<sup>1</sup>

В какой-то степени следовал Толстому Гроссман и в своем споре с Гегелем. Отвергая «благославляемое Гегелем добродушие историков» по отношению к злодеям,<sup>2</sup> автор спрашивал: «Прав ли Гегель? — все ли действительно разумно? Действительно ли бесчеловечное? Разумно ли оно?» Но отвергая Гегеля, Гроссман возвращался к его идее свободы как конечной точке исторического развития: «Прогресс в основе своей есть прогресс человеческой свободы. . . У человека, совершившего революцию в феврале 1917 года, у человека, создавшего по велению нового государства и небоскребы, и заводы, и атомные котлы, нет другого исхода, кроме свободы».<sup>3</sup>

Тема борьбы тотальной несвободы со свободой проходит через авторские рассуждения в романе «Жизнь и судьба» и в прямой форме выражена в повести «Все течет. . .» И именно «несвободу» считает автор главной сущностью исторического развития России: «Русское развитие обнаружило страшное существо свое — оно стало развитием несвободы. Год от года все жестче становилась крестьянская крепость, все таяло мужичье право на землю, а между тем русская наука, техника, просвещение все росли и росли, сливаясь с ростом русского рабства. . . Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души. . . Да в чем же она, Господи, эта всечеловеческая и всеобъединяющая душа? Крепостная душа русской души живет и в русской вере, и в русском неверии, и в русском кротком человеколюбии, и в русской бесшабашности, хулиганстве и удали. . . и в ленинском насилии, и в победах ленинского государства».<sup>4</sup> Легко заметить неубедительность этого утверждения. На вопрос: «Что же это, действительно именно русский и только русский закон развития?» — Гроссман отвечал: «Нет, нет, конечно». Ведь сам он убедительно показывал тождество русского советского и немецкого фашистского тоталитаризма, писал, что идеи «национального социализма» восприняли «Азия, Африка».

Выделение темы русской «несвободы» определялось прежде всего тем, что для Гроссмана важнее всего была судьба России. Гитлеровский фашизм был побежден; Китай мало интересовал Гроссмана. Мучило его именно то, что происходило на родине, где тоталитарный социализм продолжал существовать и после

<sup>1</sup> Там же. С. 596—598.

<sup>2</sup> Гроссман В. За правое дело. С. 408—409.

<sup>3</sup> Гроссман Василий. Все течет. . . С. 198.

<sup>4</sup> Гроссман Василий. Жизнь и судьба. С. 378—384.

Сталина. Влияние Толстого на Гроссмана очевидно: недаром одним из наиболее близких автору героев романа оказывается толстовец Иконников, обреченный себя на гибель в фашистском лагере. Но и Иконников у Гроссмана приходит к выводу, что «небеса пусты», и отказывается от веры («найти добро в Боге»)<sup>1</sup>. Пессимизм Булгакова и Тынянова разделял и Гроссман: «Где пора русской свободной человеческой души? Да когда же наступит она? А может быть, и не будет ее, никогда не настанет».<sup>2</sup>

### Единоборство с Толстым: Солженицын

«О Толстом писали, что он — совесть России. Я не знаю, можно ли это сказать о Солженицыне. Но он — надежда России», — так заявил после выхода в свет повести «В круге первом» Георгий Адамович.<sup>3</sup> Параллель «Толстой—Солженицын» возникала в критической литературе не раз.<sup>4</sup>

Александр Исаевич Солженицын вошел в литературу человеком с достаточно резко, хотя и не окончательно определившимся мировоззрением. Стать писателем он мечтал еще до войны; но его первые сочинения до нас не дошли; и даже ранние стихи и драматические сочинения Солженицына связаны с опытом войны и ареста на фронте и относятся ко времени не ранее 1950 г.,<sup>5</sup> когда писателю минуло тридцать лет.<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Гроссман Василий. Все течет... С. 182—183.

<sup>2</sup> Там же. С. 181—183.

<sup>3</sup> Цит. по: Померанцев К. Солженицын — знамение нашего времени // Континент. 1978. № 18, спец. приложение. С. 6.

<sup>4</sup> Например: Feuer Kathrin B. Solzhenitsyn and the Legacy of Tolstoy; McCarthy Mary. The Tolstoy Connection; Erlich Victor. Solzhenitsyn's Quest; Feuer K. B. August 1914: Solzhenitsyn and Tolstoy // Aleksandr Solzhenitsyn: Critical Essays and Documentary Materials / Ed. by J. B. Dunlop, R. Haugh and A. Klimoff. 2nd ed. N. Y.; London, 1973, 1975. P. 129—146, 332—355, 372—384; Layton Susan. The Mind of the Tyrant: Tolstoy's Nicholas and Solzhenitsyn's Stalin // Slavic and East European Journal. Fall 1979. V. 23, N 3. P. 479—490; Krasnov V. Wrestling with Lev Tolstoj: War, Peace, and Revolution in Aleksandr Solzhenitsyn's New August Chetyrnadsatogo // Slavic Review. Winter 1986. V. 45. P. 707—719. Ср. также: Alexander Solzhenitsyn. An International Bibliography of Writings by and about Him / Comp. D. M. Fiene. Ardis, Ann Arbor, 1973. Index of Names, P. 148.

<sup>5</sup> Ср.: Scammell M. Solzhenitsyn. A Biography. N. Y., London, 1972. P. 281—285.

<sup>6</sup> Сочинения Солженицына цитируются далее в тексте в скобках по изданиям: Солженицын А. 1) В круге первом // Солженицын А. Собр. соч. Вермонт; Париж, 1978. Т. 1 (КП, I); Т. 2 (КП, 2); 2) Раковый корпус // Там же. 1979. Т. 4 (ПК); 3) Бодался теленок с дубом. YMCA-PRESS, 1975 (БТД); 4) АРХИПЕЛАГ ГУлаг. YMCA-PRESS, 1973—1975. I—II (АГ, I), III—IV (АГ, 2), V—VII (АГ, 3); 5) Август Четырнадцатого. YMCA-PRESS, 1971 (АЧ); 6) Красное колесо. YMCA-PRESS, Вермонт; Париж, 1984—1991. Узел I. Август Четырнадцатого, гл. 1—48 (КК, I-1), гл. 48—82 (КК, I-2); Узел II. Октябрь Шестнадцатого, гл. 1—37 (КК, II-1), гл. 38—75 (КК, II-2); Узел III. Март Семнадцатого, гл. 1—170 (КК, III-1), гл. 171—353 (КК, III-2); Узел IV. Апрель Семнадцатого, гл. 1—91 (КК, IV-1), гл. 92—186 (КК, IV-2); Пьесы и киносценарии. YMCA-PRESS, 1981 (ПК).

Наиболее ясное представление о юном Солженицыне — до войны, на войне и в первые месяцы ареста — дают его воспоминания в «Архипелаге Гулага». Даже в 1938 г., в разгар террора, он, по собственным словам, ощущал себя правоверным комсомольцем: «Откуда нам знать и почему нам думать об арестах?.. Мы, двадцатилетние, шагали в колонне ровесников Октября, и, как ровесников, нас ожидало самое светлое будущее» (АГ, I, 168—169). Те же взгляды сохранил Солженицын и в первой тюремной камере, уже на Лубянке: «Для понимания же революции мне давно ничего не нужно, кроме марксизма; все прочее, что липло, я отрубал и отворачивался...» (АГ, I, 219). Ленина Солженицын читал, отвергал он только Сталина: именно за прикрито-враждебные, но легко расшифрованные высказывания о нем во фронтовых письмах он и был арестован. Что поколебало убеждения Солженицына? Определенную роль сыграл здесь его сокамерник, старый социал-демократ Анатолий Ильич Фастенко: «Видя мою восторженность, он настойчиво и не один раз повторял мне: „Вы — математик, вам грешно забывать Декарта: все подвергай сомнению! Все подвергай сомнению!“ Как это — все? Ну, не все же! Мне казалось: я уже и так достаточно подверг сомнению, довольно!» (АГ, I, 202).

Что же из прежних воззрений Солженицын утратил в первую очередь? Судя по его лагерному творчеству, — официальный советский патриотизм, побудивший Солженицына пойти добровольцем в Красную армию. Будущий герой «Красного колеса» Воротынцев появлялся уже в пьесе «Пленники» («Декабристы без декабря»), сочиненной Солженицыным частью устно в лагере Экибастуз, частью в ссылке — в Кок-Тереке. Из рассказа Воротынцева оказывается, что после революции всю свою жизнь этот офицер воевал против Советской России и коммунизма — в Белой армии, в Испании у Франко, в русских частях у Гитлера. Смерть его, предсказанная за много лет, — это смерть на виселице в 1945 г. (ПК, 152, 230). А между тем дороже всего для Воротынцева — Родина. Так что же такое любовь к Родине, патриотизм? В «Круге первом» старик-дядя Иннокентия Володина, живущий анахоретом в Твери и не желающий иметь ничего общего с советской жизнью, напоминает племяннику слова Герцена: «где границы патриотизма? Почему любовь к родине надо распространять на всякое правительство? Пособлять ему и дальше губить народ?» (КП, с. 83). Уже в «Архипелаге» у Солженицына возникает совершенно неприемлемая для ортодоксального русского патриота мысль: о благодетельности военных поражений:

«Простая истина, но и ее надо выстрадать: благословенны не победы в войнах, а поражения в них! Победы нужны правительствам, поражения нужны — народу. После побед хочется еще побед, после поражения хочется свободы — и обычно ее добиваются. Поражения нужны народам, как страдания и беды нужны отдельным людям: они заставляют углубить внутреннюю жизнь, возвыситься духовно.

Полтавская победа была несчастьем для России: она потянула за собой два столетия великих напряжений, разорений, несвободы — и новых и новых войн. Полтавское поражение было спасительно для шведов: потеряв охоту воевать, шведы стали самым процветающим и свободным народом в Европе.

Мы настолько привыкли гордиться нашей победой над Наполеоном, что упускаем: именно благодаря ей освобождение крестьян не произошло на полстолетия раньше: именно благодаря ей укрепившийся трон разбил декабристов. (Французская же оккупация не была для России реальностью.) А Крымская война, а японская, а германская — все приносили нам свободы и революции» (АГ, I, 277).

Вспоминал ли Солженицын, когда писал это, слова Толстого в его статьях о патриотизме, что «чувство это очень желательно и полезно для правительства и для цельности государства», что это «не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых целей, а для управляемых — отречение от человеческого достоинства...» (39, 52, 61—65)? Этого мы не знаем. Но когда Солженицын заявляет, что «правительства всех времен — отнюдь не моралисты, они никогда не сажали и не карали людей за что-нибудь, они сажали и карали, *что бы не!*», он повторяет идеи Толстого о всякой власти.

Читая слова Солженицына о том, что, «за исключением считанных парламентских демократий в считанные десятилетия, вся история государств есть история переворотов и захватов власти», мы, естественно, вспоминаем слова Толстого об относительности права на власть Екатерины II и Пугачева (12, 308—314.) Вполне в духе Толстого и рассуждения Солженицына о корнях широко развитого в русском народе представления, что во всяком деле «важен результат». Солженицын ощущал корни таких воззрений не только в ненавистном ему «нетерпеливом Учении», но и в национальных традициях:

«Откуда это к нам пришло?

Сперва — от славы наших знамен и от так называемой „чести нашей родины“. Мы душили, секли и резали всех наших соседей, расширялись — и в отечестве утверждалось: важен результат.

Потом от наших Демидовых, Кабаних и Цыбукиных. Они карбкались, не оглядываясь, кому обламывают сапогами уши, и все прочней утверждалось в когда-то богомольном прямодушном народе: важен результат» (АГ, 2, 596).

В одном месте мы находим и прямую ссылку на Толстого: «Помните, что писал о власти Толстой? Иван Ильич занял такое служебное положение, при котором имел возможность погубить всякого человека, которого хотел погубить!» (АГ, I, 156). Имя Толстого, «царя нашей литературы» (АГ, I, 229), возникает в «Архипелаге» постоянно, но особенно интересна одна ссылка на него — там, где Солженицын упоминает о своих товарищах по заключению — Ингале и Гаммерове. Его собеседники упрекали Толстого за то, что он не учитывал «мистической и организую-

щей роли» церкви, отвергал «библейское учение», — и аргументы их явно производили впечатление на автора. Но к словам своих собеседников, что, «как видим мы по сталинскому произволу, историческая личность может быть всемогущей, а Толстой зубоскалил над этим», писатель сделал примечание: «И в предтюремные и в тюремные годы я тоже долго считал, что Сталин придал роковое направление ходу советской государственности. Но вот Сталин тихо умер — и уже так ли намного изменился курс корабля? Какой отпечаток собственный, личный он придал событиям — это унылую тупость, самодурство, самовосхваление. А в остальном он точно шел стопой в указанную ленинскую стопу...» (АГ, I, 605). Эта очень интересная мысль не доведена здесь до конца: считал ли Солженицын во время написания «Архипелага», что не Сталин, а Ленин «придал роковое направление ходу советской государственности», или он полагал, что направление это определялось более глубокими причинами, а Ленин, как и Сталин, дал ему лишь некий индивидуальный отпечаток?

Едва ли разделял Солженицын, даже в своих ранних работах, толстовскую идею непротивления злу насилием. Вполне определенно высказано это мнение в «Августе Четырнадцатого», где один из главных героев, беседуя с Толстым, выражает сомнение в «силе любви», заложенной в человеке — особенно «в современном человеке», и хочет «предусмотреть какую-то промежуточную ступень», «побудить людей ко всеобщему благожелательству» (АЧ, 23). В «Архипелаге Гулаге» Солженицын замечал по поводу толстовской идеи протivоставления политической свободы, как чего-то второстепенного, «моральному усовершенствованию»: «Конечно, не нужна свобода тому, у кого она уже есть... Ясная Поляна была в то время открытым клубом мысли. А оцепили бы ее в блокаду, как ленинградскую квартиру Ахматовой... а прижали бы так, как всех нас при Сталине... — запросил бы тогда и Толстой политической свободы» (АГ, 3, 95—96). В той же книге, рассказывая о повальных арестах 30-х годов, Солженицын задает важнейший для него вопрос: «Если бы во времена массовых посадок, например в Ленинграде, когда сажали четверть города, люди бы не сидели по своим норкам, млея от ужаса при каждом хлопке парадной двери и шагах на лестнице, — а поняли бы, что терять им больше нечего, и в своих передних бодро бы делали засады по несколько человек с топорами, молотками, кочергами, с чем придется. Ведь заранее известно, что эти ночные картузы не с добрыми намерениями идут — так не ошибешься, хряснув по душегубцу... Несмотря на всю жажду Сталина — остановилась бы проклятая машина!» (АГ, I, 26—27, прим. 4).

Думал ли Александр Исаевич о том, к какому историческому примеру он невольно обращается? Русское освободительное движение, сложившееся в 70-х годах XIX в., отнюдь не стремилось к насильственной деятельности. Оно складывалось после нечаевского дела — и в прямой оппозиции к нечаевской аморальности. Цель «Большого общества пропаганды» («чайковцы») была мир-

ной — они занимались «хождением в народ» для пропаганды «общинного», безгосударственного строя, имевшей много общего с идеями толстовства. Но их вскоре же начали арестовывать, сажать в тюрьмы, готовить «процесс-монстр» — «процесс 193-х», ни один из обвиняемых по которому не был террористом. После двухлетнего предварительного заключения суд, хотя и ведшийся без участия присяжных, не смог найти достаточных оснований для осуждения большинства подсудимых и ограничился (не освобождать же!) административной ссылкой ряда из них. И именно в ходе арестов, связанных с этим процессом, впервые было оказано насильственное сопротивление полиции, аналогичное тому, которое хотел бы видеть Солженицын в 30-х годах XX в. Вынужденность перехода народников к террору отмечал и Толстой: «Нельзя запрещать людям высказывать друг другу мысли о том, как лучше устроиться. А одно это, до бомб, делали наши революционеры» (49, 81).

Можно предполагать, что до обращения к «Красному колесу» Солженицын испытывал к народовольческому сопротивлению власти совсем иные чувства, чем впоследствии. В «Круге первом» он рассказывал, как Сталин в 1937 г. зашел в Музей революции, «и в одном зале... с порога прозревшими глазами увидел наверху противоположной стены большие портреты Желябова и Перовской. Их лица были открыты, бесстрашны, их взгляды неукротимы и каждого входящего звали: „Убей тирана!“

Как двумя стрелами, пораженный в горло двумя взглядами народовольцев, Сталин тогда откинулся, захрипел, закашлялся и в кашле пальцем тряс, показывая их портреты.

Их сняли тотчас...» (КП, I, 158).

Но даже сомневаясь во всеспасительности непротivления, Солженицын в те годы воспринимал моральное учение Толстого как идеал человеческой нравственности.

Толстовская тема занимала важное место и в «Раковом корпусе». Ефрем Поддуб, раковый больной, обреченный на смерть, в первый раз задумывается над смыслом своей жизни — задумывается, когда в руки ему попадает рассказ Толстого «Чем люди живы!»:

«Не хотелось Ефрему ни ходить, ни говорить...»

— Вот — объявил он громко — Тут рассказ есть. Называется: „Чем люди живы?“ — И усмехнулся. Такой вопрос, кто ответит? — чем люди живы?»

Соседи по палате отвечают по-разному. Ответ Ефрема, взятый из рассказа: «не заботой о себе, а любовью к другим», — вызывает возмущение наиболее влиятельного больного — заведующего отделом кадров крупного учреждения Русанова: «Лю-бо-вью!? Не-ет, это не наша мораль!.. Слушай, а кто все это написал?» Ответ «Толстой» приводит его в недоумение: он помнит лишь одного Толстого — депутата Верховного Совета, автора «Хлеба». Но оказывается — это не тот Толстой.

«Ах, не то-т? — растянул Русанов с облегчением отчасти,

а отчасти кривясь. — А, это другой... Это который зеркало русской революции, рисовые котлетки? Так сю-сюкалка ваш Толстой! Он во многом, оч-чень во многом не разбирался...» (РК, 101—108).

Что значил этот «другой Толстой» для Солженицына в первые годы его писательской деятельности, — мы узнаем из автобиографических очерков «Бодался теленок с дубом». Первый из этих очерков называется «Писатель-подпольщик». Говоря о том, что «у писателей, озабоченных правдой, жизнь никогда проста не бывала» и вспоминая в связи с этим Толстого, чья совесть «при полном благополучии» расцарапывала «грудь изнутри», Солженицын вспоминал предшественников по писательскому «подполью», начиная с Радищева. Он рассказывал о начале своей писательской работы: сначала стихи, затем проза, заучиваемые в лагере наизусть, тайное записывание в ссылке, «зачачки» тайных рукописей, изготовление микрофильмов: «А микрофильмы потом — вделать в книжные обложки, двумя готовыми конвертами: США, ферма Александры Львовны Толстой. Я никого на Западе более не знал, ни одного издателя, но уверен был, что дочь Толстого не уклонится помочь мне» (БТД, 9).

С памятью о Льве Толстом входил Солженицын в русскую литературу. Примером Толстого вдохновлялся он и тогда, когда начинал писать книгу, которую считал главным трудом своей жизни, — книгу о первой мировой войне и революции, задуманную еще до 1941 г., в период безоговорочного поклонения революции и Ленину. Условно обозначенная в замыслах автора «Р-17», книга композиционно должна была строиться как «Война и мир» — с перемежающимися сценами военной и мирной жизни, с героями, в значительной степени восходящими к поколению родителей автора. Если Лев Толстой дал Николаю Ростову (в первоначальных замыслах — Простому) имя, отчество и некоторые биографические черты своего отца, а семье Болконских — черты семьи Волконских, родичей своей матери, то Солженицын таким же образом сделал прототипом Исакия (Сани) Лаженицына своего отца, а материнскую семью Щербаков изобразил под фамилией Томчаков. Очевидны в солженицынской эпопее и другие соответствия — Воротынцев, инспектирующий фронт, и Андрей Болконский, выполняющий те же функции у Толстого, генерал Самсонов и Кутузов и др.

Однако круг идей многотомной эпопеи, начатой «Августом 14-го» и получившей затем наименование «Красное колесо», оказался не только не сходным с кругом идей Толстого, а резко противоположным им. Книга эта стала восприниматься как «антитолстовская поэма», как «единоборство со Львом Толстым».<sup>1</sup>

Тема Толстого возникает на первых же страницах «Августа Четырнадцатого». Саня Лаженицын, считавший себя толстовцем,

<sup>1</sup> Krasnov V. 1) Solzhenitsyn and Dostoevsky. Athens, 1980. P. 173, 177; 2) Wrestling with Lev Tolstoi. P. 707—719.

решается отправиться к своему учителю и спросить его о жизненной цели человека на земле. Далее следует разговор, о котором мы уже упоминали, где Толстой отвергает любые пути, кроме любви: «— Только любовью! Только. Никто не придумает ничего верней. . .» (АГ, 23; ср.: КК, I-1, 28). Так читался этот разговор в первоначальной редакции «Августа Четырнадцатого». В окончательной редакции — той, которая стала первым «узлом» многотомного «Красного колеса», разговор с Толстым значительно расширен. Саня не только сомневается в силе любви, но и подозревает, что в мире существуют некие могущественные силы, противостоящие ей: «Вы пишете, что разумное и нравственное всегда совпадают. . . Вы пишете, что добро и разум — это одно или от одного? А зло — не от злой природы, не от природы такие люди, а только от незнания? Но, Лев Николаич. . . — никак! Вот уж никак! Зло — и не хочет истины знать. И клыками ее рвет! Большинство злых людей как раз лучше всех и понимают. А — делают. И — что же с ними?» (КК, I-1, 28).

Несогласие Солженицына с Толстым упоминается во второй редакции «Августа Четырнадцатого» и в другом месте — там, где Саня Лаженицын беседует в Москве с философом Варсонофьевым. Лаженицын объясняет, что с графом Толстым разъединило его рассуждение Толстого о «телеге». В ответ на письмо «грамотного крестьянина» о «государстве нашем» как о «перекувыркнутой телеге», которую пора «на колеса поставить», Толстой посоветовал крестьянину бросить эту телегу и идти «каждый сам по себе, свободно». Саня заявляет, что «если телега означает русское государство — как же такую телегу можно бросить перепрокинутую? . . . Толстовское решение — не ответственно. И даже, боюсь, по-моему. . . не честно. . . А потом и другое. Любовь у него получается как частное следствие ясного полного разума. Так и пишет, что учение Христа, будто, основано на разуме — и потому даже *выгодно* нам. . . Как раз наоборот, по-земному христианство совсем не разумно, оно даже безрассудно. . .» (КК, I-1, 403).

Прямое наступление на религиозные взгляды Толстого открывается в следующей книге «Красного колеса» — «Октябрь Шестнадцатого». Ведет его отец Северьян, фронтовой священник на батарее, где служит Саня Лаженицын: «— А вам не приходило в голову, что Толстой — и вовсе не христианин? . . . Да читайте его книги. Хоть „Войну и мир“. Уже такую быль богомольного народа поднимать, как Восемьсот Двенадцатый, — и кто и где у него молится в тяжелый час? Одна княжна Мария? . . .» (КК, II-1, 63). Здесь отец Северьян — а вместе с ним и автор — явно неточен. Молится в «Войне и мире» не одна княжна Марья; молится всем народом перед приездом Александра I в Москву; молится вместе с другими и Наташа Ростова — она лишь не хочет молиться об одолении врагов, ибо помнит, что, по евангелию, должна любить их (II, 73—76). Но суть спора не в этом.

«— Как же должно упасть понимание веры, чтобы Толстой

мог показаться ведущим христианином!.. Ему кажется, что он открыватель, а он идет по общественному склону вниз, и других стягивает... Взять от религии, так и быть, этику — на это и интеллигенция согласна... Этика — это ученические правила, низшая окраина дальновидного Божьего управления нами... Но никак не меньше нашего личного развития — стать среди малых и темных и, опираясь плечами с ними, упираться нашими избранными пальцами в этот самый каменный пол, по которому только что ходили другие уличными подошвами, — и на него опустить наш мудрый лоб. Принять ложечку с причастием за чередой других губ — здоровых, а может быть, больных, чистых, а может, и не чистых. Из главных духовных приобретений личности — усмирять себя... Великий художник — и не коснулся неохватного мирового замысла, напряженной Божьей мысли о всех нас и каждом из нас! Да что там не коснулся! — рационально отверг!» (КК, II-1, 64—66).

Отец Северьян объясняет еще (по Достоевскому), что «первичнее войны и опаснее войны всеобщее зло, разлитое по человеческим сердцам», и в конечном счете Саня Лаженицын соглашается с ним: «Это мне облегчает очень» (КК, II-1, 72).

В этих рассуждениях о Толстом, в сущности, еще не было спора с ним, опровержения его аргументации. Действительно, учение Толстого было рационалистично — он воспринимал религию лишь как «следствие ясного полного разума» — «так, чтобы всякое необъяснимое положение представлялось как необходимость разума же, а не как обязательство поверить». Принимая заповеди Моисея и Нагорную проповедь буквально, Толстой выводил из них свое этическое учение. Более того, считая эти заповеди конкретным выражением единого принципа: «Не делать другому и другим, чего бы не хотели, чтобы нам делали», — он настаивал на том, что принцип этот лежит в основе религии и этики всех народов, он доступен всем людям, «выгоден» им, как выраженные их общих потребностей, и может быть доказан каждому. «То же самое свойство человеческого существа, которое открывает ему Пифагорову теорему, открывает ему и несомненную обязанность любви к ближнему» (64, № 127, 74). Оппоненты же Толстого требовали от него и от других приятия того, что по земной логике «совсем не разумно» и даже «безрассудно»: веры в необходимость человеку «опустить мудрый лоб» на грязный пол, принять «ложечку с причастием» после «здоровых и больных», «чистых и нечистых» губ. Почему? Этого они не объясняли, как не объяснял отец Северьян, почему «исключительность моей веры» — той, за которую должны сражаться солдаты, — «не унижает веры других» (КК, II-1, 73).

Ближе к мирским проблемам возражения Сани Лаженицына Толстому по поводу государства как перевернутой телеги. Такое рассуждение у Толстого действительно читается в статьях «Как освободиться рабочему народу? Письмо к крестьянину» и «Истинная свобода». Возражая людям, считавшим, что «телега постав-

лена неправильно» и надо ее «поставить книзу колесами и так все пойдет по маслу», Толстой писал: «Если и поставить телегу книзу колесами, то первым делом эти самые переворачиватели насядут на нее и вам же велят везти себя» (90, 70). Перед нами — рассуждение, уже знакомое по статье Толстого «К рабочему народу» против суеверия устройства социалистов и либералов: «Почему вы думаете, что люди, которые составят новое правительство... не найдут средств точно так же, как и теперь, захватить львиную долю, оставив людям темным, смиренным только самое необходимое?» (35, 149—150). О том, что рассуждения о «телеге» направлены против тех же людей, что и статья «К рабочему народу», свидетельствуют слова Толстого в статье «Истинная свобода», что те, кто считают, что «телега поставлена неправильно», хотят изменить «теперешнее управление государством... на манер европейских государств» (90, 77—78). Толстой полагал, что во всяком государстве власть оказывается в руках людей, преследующих «личные выгоды», и поэтому «рабочему народу» нужно держаться подальше от государственной власти.

Очевидно, что Лаженицын (как и Солженицын) с этим не соглашался. Но что же он предлагал? «Перевернуть телегу»? Но ведь это — ясная метафора революции или, по крайней мере, радикального общественного переустройства по западному образцу. Как может быть осуществлено такое переустройство? «Поставить на колеса. И покатить. И сброду пришатному — не дать полезть в кузов», — отвечает Лаженицын (КК, I-1, 403). Но кто будет ее переворачивать и катить? И кому и как решать — кто «сброд пришатный», а кто законные водители телеги?

Перед нами — все тот же «проклятый» толстовский вопрос — кем и как движется история?

К этому вопросу Солженицын обращался уже в «Августе Четырнадцатого» — на том самом материале, на котором его решал Толстой, — говоря о руководстве военными действиями.

Первое возражение Толстому было высказано Солженицыным довольно необычным способом: в скобках, после упоминания о низких боевых качествах русских генералов 1914 г.: «И тут бы утешиться нам толстовским убеждением, что не генералы ведут войска, не капитаны ведут корабли и роты, не президенты и лидеры правят государствами и партиями, да слишком много показал нам XX век, что именно *они*» (АЧ, 40; КК, I-1, 383).

Доказательство того, что именно лидеры XX века правили государствами, мы должны обнаружить в следующих главах и узлах эпопей, а к Толстому Солженицын возвращается вновь при описании глупых и постыдных действий одного из участников описываемой кампании — Благовещенского: «Генерал Благовещенский читал у Льва Толстого о Кутузове... И как толстовский Кутузов, он понимал, что никогда не надо производить никаких собственных решительных резких распоряжений: *что из сражения, начатого против его воли, ничего не выйдет, кроме путаницы; что военное дело все равно идет независимо, так как должно*

*идти, не совпадая с тем, что придумывают люди; что есть неизбежный ход событий и лучший полководец тот, кто отрекается от участия в этих событиях...*» И далее — сарказм уже прямо обращен к Толстому: «Упустил и Лев Толстой, что при отказе от распоряжений тем пуще должен уметь военачальник писать правительные донесения; что без таких... донесений полководцу нельзя, как толстовскому же Кутузову, *направлять свои силы не на то, чтобы убивать и истреблять людей, а на то, чтобы спасать и жалеть их*» (АЧ, 53; КК, I-2, 38).

Обратившись к роману Толстого, цитируемому Солженицыным (12, 185; ср. 80), читатель легко может убедиться, что сарказм писателя обращен не по адресу. Толстой отнюдь не «упустил» того, что, отделиваясь от ненужных указаний, полководец вынужден прибегать к их мнимому выполнению и даже к прямой лжи: Кутузов у Толстого заявляет РаSTOPчину, что не оставит «Москву без сражения», несмотря на то что он уже оставил ее, он лжет Аракчееву, передавшему ему приказ царя о назначении Ермолова, будто сам уже решил назначить его, и делает это неоднократно (12, 184). Но, употребляя все силы на то, чтобы, вопреки приказам, «противодействовать наступлению» на и без того бегущих из России французов (12, 70, 117), толстовский Кутузов (в окончательной редакции романа) делает это вовсе не потому, что не хочет (подобно солженицынскому Благовещенскому) воевать и активно действовать. Вопреки распространенному представлению многих читателей «Войны и мира», Толстой отнюдь не сомневался в том, что плохо или безрассудно действующий военачальник (как и политический деятель) может принести большой вред, а хороший и добросовестный — пользу. Андрей Болконский, наблюдавший под Шенграбенем действия батареи Тушина, с полным основанием заявляет, что «успехом дня мы обязаны больше всего действию этой батареи и геройской стойкости капитана Тушина с его ротой» (9, 241). Под Тарутинным генерал Толь несправедливо оскорбляет генерала Багговута, «а взволнованный и храбрый Багговут, не соображая того, полезно или бесполезно его вступление в дело теперь... повел свои войска под выстрелы», погиб сам и погубил многих солдат (12, 80).

Но что определяет исход не отдельной стычки, а решающего сражения или войны в целом? Даже из описания августовской кампании 1914 г., сделанного Солженицыным, видно, что в поражении русских сыграло главную роль не мнимое «толстовство» генералов, а техническая отсталость русской армии, недостаток транспортных средств, несогласованность отдельных частей, чудовищная неустойчивость средств связи, открывавшая немцам все замыслы и сообщения русского командования. В статье об «Августе Четырнадцатого» (первой редакции) М. Маккарти справедливо заметила, что «вместо того, чтобы опровергнуть Толстого, роман подтверждает его взгляды. Только на уровне полковника и ниже мы наблюдаем позитивную роль командования... Пытаюсь

через Воротынцева преподать урок того, что должно было быть сделано, чтобы предотвратить Танненбергскую катастрофу, Солженицын, кажется, попал в ловушку. Чтобы сделать этого умного офицера убедительным, нужно было написать иное окончание романа, чем то, которое дала история». <sup>1</sup> Кончается «Август Четырнадцатого» как раз тем, что Воротынцев терпит полную неудачу, пытаясь разоблачить перед великим князем Николаем Николаевичем позорное поведение верховного командования. Да и весь исход первой мировой войны никак не подтверждает роли великих полководцев (и великих людей) в истории. Маршал Фош едва ли превосходил военным талантом Гинденбурга и Людендорфа — решающую роль в исходе войны (даже после выхода из нее России) сыграли мощь Британской и Французской империй и свежие силы Америки.

Может быть, именно ощущение неубедительности этой полемики с Толстым побудило Солженицына коренным образом переработать «Август Четырнадцатого», создав новую редакцию — «первый узел» эпопеи «Красное колесо». <sup>2</sup> Первый узел пришлось расширить и разделить на две книги и ввести в него, вопреки всякой хронологии, недостававшего в нем «великого человека». Не совсем удачным оказалось, однако, то, что этот великий человек, Петр Аркадьевич Столыпин, не мог иметь прямого отношения к войне 1914 г., поскольку жил и действовал за несколько лет до нее. Столыпин был убит в 1911 г., и главная тема обширного «этюда о Столыпине», помещенного в романе где-то внутри повествования об августе 1914 г., — роковая гибель его от руки «революционных бесов», воплотившихся в убийце Богрове. Но какое отношение смерть Столыпина имела к первой мировой войне? Из чего следует, что Столыпин этой войны не допустил бы? Весь круг лиц, близких Столыпину, разделял патриотический подъем после нападения Австрии на Сербию и объявления Германией войны России. Вероятно ли, чтобы патриот и монархист Столыпин (вдобавок, потерявший власть уже в 1911 г.) противостоял в этом случае господствующему настроению своего круга, выраженному в царском манифесте? Еще менее вероятно, чтобы статский чиновник, каким был Столыпин, мог что-либо изменить в ходе военных действий 1914 г. Недаром А. Янов, относящийся к Столыпину едва ли не более восторженно, чем сам Солженицын (Янов даже порицает писателя за неуместное сопоставление столпа «душевердного деспотизма» Петра I и «разрушителя рабства» Столыпина), пришел к выводу, что в первом «Узле» «Крас-

<sup>1</sup> *McCarthy Mary. The Tolstoy Connection. P. 348—350.*

<sup>2</sup> В. Краснов, вполне солидарный с Солженицыным в его критике Толстого, именно во второй редакции «Августа Четырнадцатого» видит решающее опровержение «пассивизма» Толстого, который критик связывает с «марксистско-ленинской» историографией. Черты такого «пассивизма» Краснов обнаруживает даже у Сталина (*Krasnov V. Wrestling with Lev Tolstoy. P. 712*), хотя Сталин, как известно, отличался изрядной активностью и никак не склонен был недооценивать роль полководцев (и в первую очередь, себя самого) в войне.

ного колеса» никак не обнаруживается связь между убийством Столыпина и неудачной Августовской кампанией: ибо «не „бесы“, а генералы виноваты в катастрофе 1914 г.»<sup>1</sup> Непонятно поэтому, каким образом введение Столыпина в текст «Августа Четырнадцатого» должно опровергнуть Толстого и доказать важнейшую роль «великих людей» в истории.

Однако, решающее значение историко-софские вопросы приобретают в последующих «узлах» эпопеи — там, где повествуется о Февральской революции. Именно Февральскую революцию Солженицын счел главным событием русской истории XX века, видя в Октябре и в гражданской войне лишь последствия Февраля.

Концепция, положенная Солженицыным в основу «Красного колеса», не вполне оригинальна. Большое влияние на Солженицына оказал известный государственный деятель начала XX века Д. Н. Шипов, противник представительной демократии западного типа, чью программу писатель излагал так: «Народное представительство должно выражать не случайно сложившееся во время выборов большинство избирателей, а — действительное направление народного духа и общественного сознания... А для этого надо привлечь в состав народного представительства наиболее зрелые силы народа...» (*КК, II-1, 87*). Но еще более сильное влияние на писателя оказал философ, переживший революцию, — уже известный нам Иван Ильин, ниспровергатель Льва Толстого. К Ильину, очевидно, восходили и мысли Сани об абсолютном «зле», противостоящем «добру», и упреки Толстому, вложенные в уста отцу Севериану. Как и Шипов, Ильин высказывал идею ограничения демократии во имя власти элиты. Еще в «Первом круге» идея эта фигурировала в рассуждениях одного из узников «шарашки» Герасимовича, сторонника «справедливого неравенства». Но в этом романе его главный герой, Глеб Нержин, выражал законные сомнения в благодетельности «автократии», предлагаемой Герасимовичем: «А то говорится „автократизм“, а выдупляется „тоталитаризм“», — отвечает он своему собеседнику (*КК, I, 317*).

В «Красном Колесе» идеи И. А. Ильина, как отметил сам Солженицын, были переданы довольно своеобразному персонажу — женщине-профессору Ольде Орестовне Андозерской.<sup>2</sup> Как и всякий художественный образ, персонаж этот, вероятно, отражает черты разных людей, но основной прототип его очевиден: профессор Бестужевских курсов Ольга Антоновна Добняш-Рождественская. Почему именно эту известную медиевистку либерально-кадетского направления Солженицын решил сделать рупором «системы взглядов» Ильина — неясно. Андозерская заявляет, что «монархия вовсе не делает людей рабами, республика обезличивает еще хуже», что «помазанничество» монарха «выра-

<sup>1</sup> Янов А. Русская идея и 2000-й год. N. Y., 1988. С. 254—259.

<sup>2</sup> См. «Замечания автора к Узлу второму» — *КК, II-2, 587*.

жает ту достаточную реальность, что *не люди* его избрали, назначили, и не сам он этого добивался. . . При воцарении первого члена этой династии некий перст Божий, согласитесь, на Руси был», что «помазанник и только он, может перешагнуть закон» (КК, II-1, 401—408). Разговор этот продолжается и в следующие дни, когда охваченный внезапной страстью к Андозерской Воротынцев приходит к ней: «. . . когда в России существовала республиканская идея? Стала побеждать в Новгороде? — он из-за нее и погиб. . . И чем гордится демократическая республика? Всеобщим смешением и мнимым равенством. Дать голоса юнцам — и 50-летний мудрец имеет столько же прав и влияния, сколько безусый юнец? Тяготение к равенству — примитивный человеческий самообман, и республика его эксплуатирует, требует равного от неравных. . . Чтобы *иметь* государя — надо его любить. . .» (КК, II-1, 443—445). Воротынцев, в отличие от Нержина в «Первом круге» не спорит против таких идей; он лишь замечает, что к нынешнему «Государю нет таинственной любви», но собеседник его не Герасимович из «Первого круга», а «Ольженька». «Да уже так Георгий упоен был Ольдой и так благодушно благодарен ей, в примирительных лапах держал ее маленькие бочки. Все теплое притягательное тельце лектора ощущал рядом с собою, притиснутым к своему под одним одеялом — еще бы не примириться, с чем не согласился бы в зале?» (КК, II-1, 453—458).

Приобретение Ильиным такого неотразимого последователя должно, очевидно, сделать его идеи особенно убедительными. Но Солженицын все-таки не Воротынцев, не охваченный страстью полковник. И идеи Ильина, изложенные столь неожиданным образом, вступают в противоречие с другими элементами его мировоззрения, и прежде всего, с самим текстом книги.

Идеи Ильина и Шипова должны, по мысли автора, противостоять роковым событиям Февральской революции. Но как и почему эта революция совершилась? Если повествуя о предшествующих событиях, Солженицын всячески подчеркивал роль в них отдельных личностей: с одной стороны — Столыпина, с другой — бездарных генералов, вдохновлявшихся идеями Толстого, то, описывая начало революции, автор, вопреки исходной позиции, рисовал абсолютную стихийность этих событий, неспособность кого бы то ни было управлять ими. Эта стихийность обнаруживается уже в сцене демонстрации в «Октябре Шестнадцатого», когда рабочие, вывалившиеся из «темно-кирпичных корпусов», сталкиваются с полицейским патрулем; звучит рабочая «Марсельеза». на помощь демонстрантам приходят солдаты запасного полка:

«А там на плацу — еще бегут! На фронте не увидишь такой армии радостной: не стреляют, а враг известен! . .

— Бей сволочей фараонов. . .» (КК, II-1, 425—432).

То же — и в уличных сценах «Марта Семнадцатого»: градоначальник приказывает казачьему офицеру рассеять демонстрантов, а казаки, на радость толпе, этого не делают: «„— Ура казакам! Ура казакам!“ А казакам это внове, что им от городских —

да „ура“...» (КК, III-1, 23—24). И на следующий день, 24 февраля, на Невском: «— Братьям казакам — спасибо! Ура-а-а!.. Ухмыляются казачки, довольны» (КК, III-1, 84—87).

25 февраля уже появляются убитые и раненые. 26 февраля рота Павловского батальона отказывается стрелять; зачинщиков отправляют в Петропавловскую крепость (КК, III-1, 255—289).

А между тем государственные деятели — и те, которые страдают революции, и те, которые ее жаждут, решительно ничего не понимают в происходящих событиях. Ленин уже не думает о России, он мечтает о революции в Швейцарии — но напрасно. Горячий противник революции Струве вместе с умеренным Шингаревым после первых петроградских событий посещает Винавера — левого кадета, связанного с социалистическими кругами.

«А Винавер не только мог знать, но обязан был знать, но и добивался узнать тайный план революционеров. Однако не было его...»

— Ничего не будет, господа, займемся своими делами» (КК, III-1, 249). В отчаянии был и Керенский после ареста солдат-павловцев: «— Много прольется крови. Жестоко подавят». И Суханов-Гиммер, один из вождей меньшевиков, приходит к выводу, что «все эти дни метались зря» (КК, III-1, 290—291). На собрании у Керенского все настроены мрачно; «даже и Кротовский-Юрьев от межрайонцев, самых отчаянных, категорически заявил, что никакой революции нет и не будет, движение сходит на нет, и нужно готовиться к долгому периоду реакции» (КК, II-1, 311).

Но 27 февраля вспыхивает восстание Волинского полка, и рассказ об этом восстании — едва ли не лучшая глава книги. Накануне на Знаменской площади, волинцы, хотя и неохотно, стреляли в толпу (КК, III-1, 257—262); вечером этого дня капитан Лашкевич, осудив солдат за отсутствие «самостоятельности», дал приказ фельдфебелю Кирпичникову снова вывести роту и «завтра же все беспорядки прекратить». Ночью Кирпичников предлагает солдатам «не идти» — отказ грозит повешеньем, но «лучше по-солдатски умереть, чем невинных бить»: <sup>1</sup> «И что

---

<sup>1</sup> Другой прекрасно написанный образ «Красного колеса» (КК, II, глава 63) — рабочий-большевик Саша Шляпников, механик высшего разряда, работавший и в Англии и Франции, «славный мастеровой всемирного отечества»; Солженицыну явно импонируют и старообрядческое детство Шляпникова, воспитавшее в нем упорство сопротивления, и его навыки профессионального подпольщика. Удивительное дело — всю жизнь преклонявшийся перед пролетариатом Горький так никогда и не смог нарисовать рабочего-революционера; а Солженицыну, писателю противоположных взглядов, это удалось. И напротив: столь важный для Солженицына образ купца-предпринимателя (один из тех, которые так удавались Горькому) Гордея Польщикова — таинственного возлюбленного страстной Ликонд, — едва ли не самый бледный в романе. Но при всей яркости солженицынского Шляпникова, он у него вовсе не «делает революцию»: почти совершенно одинокий в своей партийной организации, потерявший связь с эмиграцией, Шляпников действует наощупь, и счастливой случайностью оказывается для него, что поспешно затеянная им стачка срывает хозяйский локаут.

сбрендили на ночь, то покатилося уже само, от них не завися». Утром солдаты заявляют: «Стрелять больше не будем! Не желаем понапрасну лить братскую кровь!» Офицер бежит в штаб батальона, чтобы доложить о бунте; его пристреливают. Восставшие волинцы выходят на улицу, идут к Литейному, к ним присоединяются солдаты Преображенского и других полков; освобождают заключенных из тюрем (КК, III-1, 585). А зачинщик всего этого, Тимофей Кириичников, смотрит вокруг и не верит: «...неужели это он все управил? Неужь вся эта чертопляска по всему городу с него единого началась?» (КК, III-1, 585).

Да нет, и автор и читатель понимают, что началось вовсе не с Тимофея, хотя ему именно довелось стать на минуту в центре событий, которые воспринимались людьми как явление природы, внезапное начало весны. Таковы именно впечатления сестры полковника Воротынцева — Веры:

«Никогда Вера не видела — вне пасхальной заутрени — столько счастливых людей вместе зараз. Бывает, лучатся глаза у одного-двух — но чтобы сразу у всех?

И это многие заметили, кто и церкви не знавал: пасхальное настроение. А кто так и шугил, входя: Христос Воскрес! Говорят, на улицах — христосуются незнакомые люди» (КК, III-1, 303).

Так же воспринимались эти события и в Москве: «Все-таки революция, как она рисуется из истории, всегда связана с какими-то баррикадами, стрельбой, убитыми. А в Москве... вся революция прошла на одной радости, улыбках, сиянии, и даже непонятно становилось людям: что они думали до сих пор? почему ждали, жили иначе? что им мешало и прежде жить хорошо? Кажется, ни у кого сожаления к старому, ни даже мысли, что оно может возвратиться...» (КК, III-1, 580).

А как же боевые офицеры, «младотурки», которые хотели не народной революции, а порядка, усиления армии? Один из них. Кутепов, действует решительно, пытается отеснить мятежников к Неве, но терпит полную неудачу: «Его отряда больше не существовало» (КК, III-1, 505).

Воротынцева эти события застают как раз в Москве. Что же делать этому боевому офицеру, пытавшемуся за несколько лет до этого изменить ход событий на западном фронте? «Честь требовала вмешаться. Разум не указывал пути. А не в первый раз в эту войну, и особенно в эти последние месяцы, Воротынцев, вопреки своей вере в силу единичной воли — ощущал почему-то роковое бессилие: даже в гуще событий, в самом нужном месте и сколько не напрягайся — нет сил повернуть события! Почему так?» (КК, III-2, 397).

Не менее выразительно и поведение другого любимого героя Солженицына — инженера Ободовского (его прообразом был инженер П. А. Пальчинский), отвергавшего в начале войны революционную деятельность и видевшего надежду России в «союзе инженеров»:

«Но когда сегодня притекла весть за вестью, как расширяется на столице военный бунт, Ободовский очень быстро, своим опытом Пятого года, определил, когда другие еще не смели назвать: *революция!* Она!

... Она разливалась, и ее победа захватывала сердце: все равно Она уже текла, и что ж упрекать и подсчитывать, на чем отразится? — только б не сорвалась! Только б дотекла! Это — момент, которого ждут столетия, это — момент, которого нельзя откладывать ни ради чего! — он потом два столетия не повторится.

Другое: как мы, напряженно годами ее ожидая и веря, — все равно не приготовились и не угадали, что она пришла? Все эти дни — ведь не угадали. . .» (*КК, III-1, 533*).

Еще острее воспринимает февральские события прапорщик Ленартович, с самого начала сочувствовавший революции. «И откуда вдруг — такая неожиданная сила народа? И почему так слаб оказался враг?» — спрашивает он себя. «И что теперь делать на улице? Как это — *делают* революцию?» (*КК, III-1, 533*).

В отличие от Исакия Лаженицына, Ленартович не общался со Львом Толстым. Будь это иначе, он мог бы услышать мнение, к которому Толстой пришел еще в 1905 г.: «. . . Революции не делаются парочно: „дай, мы сделаем революцию“» (*36, 260*).

Именно так совершается Февральская революция у Солженицына. Как и в повествовании о войне, романист, «вместо того чтобы опровергнуть Толстого, подтверждает его взгляды».

И причина этого не только в способности писателя вживаться в описываемые события — способности, преодолевающей заданную идею. Дело в том, что и сама идея «Красного колеса» вовсе не так органична для Солженицына, как может показаться исследователям его позднего творчества. Всего несколько лет пробыл Солженицын младшим офицером и навсегда сохранил стыд за то, что «проклятые погоны» внушили ему в те годы, что он — «человек высшего сорта» (*АГ, 1, 170—171*). А в последующей жизни он оказался заключенным, узником каторжного лагеря, потом — «писателем-подпольщиком». И этих впечатлений не могли вытравить никакие рассуждения И. Ильина и его единомышленников «серебряного века».

Уже Жорж Нива отметил, что описание восстания заключенных в Кенгире в 1953 г., содержащееся в пятой части солженицынского «Архипелага», — «один из самых прекрасных гимнов бунту, сложенных в нашем веке», и что этот гимн противопоставлен идее непротивления в «Матренином дворе».<sup>1</sup> Но «Сорок дней Кенгира» противостоят не только «Матренину двору». «Что за ощущения могут быть те, которые рвут грудью восемь тысячам человек, все время и давеча и только что бывших разобщенными рабами. . . А тут — Февральская революция! Столько подавленное — и вот прорвавшееся братство людей!» — читаем мы в «Архипелаге» (*АГ, 3, 312—313*).

<sup>1</sup> *Нива Жорж. Солженицын. Overseas Publications. London, 1987. P. 53.*

Как же совместить эти слова с обвинительным актом Февральской революции в авторском замысле «Красного колеса»? Никак не совместить. В новом издании «Архипелага Гулага» мы обнаруживаем тот же абзац с небольшой поправкой: перед словом «революция» пропущено слово «Февральская». <sup>1</sup> Перед нами — самоцензура.

Но никакая редакция и самоцензура не может зачеркнуть тесные связи Солженицына с Толстым: многочисленные обращения к нему в «Раковом корпусе», «Архипелаге» и других произведениях, описание поражения 1914 как следствия кризиса всей системы, картины Февральской революции, никем не «сделанной» и стихийной. Из единоборства с Толстым Солженицын в «Красном колесе» явно не вышел победителем. Но исход этого спора интересен не только для характеристики писателя. Гораздо существеннее другое. В отличие от Булгакова и Тынянова, умерших при Сталине, и Гроссмана, дожившего до Хрущева и Брежнева, Солженицын — наш современник.

Как и мы, он дождался падения многолетней деспотической власти и даже попытался — вопреки толстовскому отрицанию «суеверия устроительства» — выступить с советом: «Как нам обустроить Россию». И как и мы, он стоит теперь перед вопросами, столь близкими к тем, которые мучили людей, переживших «пасхальные настроения» марта 1917 (а теперь — и августа 1991) года. Что же будет дальше? На что надеяться?

Пытаясь ответить на эти вопросы, мы вновь должны обратиться к писателю, с именем которого Солженицын входил в литературу и чьи идеи он пытался — безуспешно, как мы видели, — опровергнуть.

---

<sup>1</sup> Солженицын А. Архипелаг Гулаг. V—VI—VII. 2-е изд. Вермонт; Париж, 1989. С. 298; ср.: Новый мир. 1989. № 11. С. 116.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### ТОЛСТОЙ НА ПОРОГЕ ХХІ ВЕКА

Век, первое десятилетие которого застал Толстой, идет к концу.

Что же принес этот век нового, и в какой степени он подтвердил мрачное предсказание Чехова, что после смерти Толстого «все к черту пойдет»? Главное, что отличает двадцатый век от предыдущего, да и от всех предшествовавших, — это масштабы человекоубийства, то, что В. Гроссман назвал «массовым забоем людей». Выросло население планеты, еще значительно увеличились средства массового уничтожения. «Массовый забой людей» происходил в ХХ в. в двух мировых войнах и во множестве местных — гражданских и межгосударственных. Но убийства миллионов осуществлялись не только на фронтах, но и вне их — в тюрьмах и огромных человеческих заповедниках, которые обычно именовались лагерями.

К концу ХХ века две основные системы, творившие убийства, в какой-то степени отошли в прошлое: был побежден во второй мировой войне фашизм; распалась, сгнив изнутри, коммунистическая идеология в России и в ряде сопредельных стран.

Сегодня люди пытаются уже подводить итоги кончающемуся столетию, искать причины пережитых бед, извлекать из них уроки. Казалось бы, в обстановке всеобщего поиска причин бед ХХ века и путей избавления от них, в России естественно было бы обратиться к наследию того человека, в котором давно уже видели живое воплощение совести страны. Но, странным образом, это не происходит.

Широко популярны идеи Достоевского. Но писатель, которого, говоря о величии русской культуры, называют обычно рядом с Достоевским и даже впереди его, соединяя их как бы в единого «Толстоевского», в размышлениях о нравственных проблемах и судьбах страны почти не упоминается. Недавно О. Чайковская, выступив против нарастающего культа Достоевского, когда «многие его уже читают, как правоверные — Коран», противопоставила ему другого писателя того же времени: «...они всегда помнили друг о друге, вольно или невольно были соперниками, деля между собой любовь и восторг образованной России». Кто же

этот второй писатель, второй «источник», из которого О. Чайковская советует пить, ибо он «всегда благотворен»? Тургенев. О Толстом она даже не вспоминает.<sup>1</sup> Сегодня, обращаясь к прошлому, наши публицисты изучают наследие славянофилов и писателей консервативного направления XIX в. — Чичерина, Данилевского, Страхова. Но преобладающее влияние на современную интеллигенцию получили мыслители первых десятилетий XX столетия, предшествовавших революции. Как бы перечеркнув весь опыт завершившегося столетия, писатели ринулись к началу его — в салоны так называемого «серебряного века», к Мережковскому и Гиппиус, Бердяеву и С. Булгакову, Гершензону и Розанову. Пожалуй, наиболее популярной фигурой в нынешней публицистике оказывается непримиримый обличитель Толстого, твердокаменное мировоззрение которого смутило даже Гиппиус и Бердяева, — Иван Ильин.

Ильина перепечатывают ныне и в «Юности», и в «Новом мире», и в других журналах, печатают отдельными изданиями. На него постоянно ссылаются — и отнюдь не одни только национал-патриоты, но и люди, почитающиеся либералами. В чем же заключаются идеи Ильина, столь восхитившие разнообразных авторов? В противоположность Толстому, чьи взгляды он так сурово осудил, Ильин был твердо убежден, что историю творят монархи и государственные деятели; он не сомневался, что от того или иного их поступка зависел исход событий, что если бы в 1917 году «Государь Император предвидел неизбежный хаос... то он не отрекся бы, а если б отрекся, то обеспечил бы сначала законное престолонаследие и не отдал бы... пустому месту, которое называлось Временным правительством...»<sup>2</sup> Философ по видимому, запомнил, что Николай II передал престол не Временному правительству, а своему законному (ввиду болезни сына) наследнику — брату Михаилу и что дальнейшие события к нему вообще не имели отношения. Ну, а если бы он не отрекся? Достаточно даже не обращаться непосредственно к многочисленным источникам, а прочесть «Март Семнадцатого» Солженицына, чтобы понять, что законного отречения царя жаждали правые политики (Шульгин, Гучков), а Совет рабочих депутатов отнесся к нему вполне равнодушно, ибо революция уже совершилась, и им несколько не нужна была легитимная смена власти.

Так обстоит дело с историей. Что же предлагал Ильин на будущее? «Править должны лучшие». «Идея ранга». «Пока идея национальной диктатуры не подберет себе честный и идейный правящий аппарат... говорить о выборах невозможно... Права голоса не могут принадлежать... интернационалистам — навсегда, рядовым коммунистам — на 20 лет... Никаких партийных программ, плакатов, никакой агитации быть не должно... Не

<sup>1</sup> Чайковская О. Из двух источников // Новый мир. 1985. № 4. С. 228—244.

<sup>2</sup> Ильин И. О сопротивлении злу // Новый мир. 1991. № 10. С. 219.

прямые выборы, а многостепенные. . .»<sup>1</sup> Лев Николаевич Толстой считавший, что «патриотизм есть рабство», несомненно попал бы в число «интернационалистов» — следовательно, даже если бы Ильин не повесил его, как заключила из рассуждений Ильина Гиппиус, то уже в число «лишенцев» несомненно включил. Ильинская идея многостепенного голосования, как и рассуждения Шипова, приведенные Солженицыным (см. выше, с. 140), о том, что «народное представительство должно выражать не случайно сложившееся во время выборов большинство избирателей», а представлять «наиболее зрелые силы народа», что-то нам, людям 90-х годов, невольно напоминают. Да, да, конечно, — двухступенную систему выборов (съезд и Верховный совет), а в Верховном совете СССР — обеспеченную заранее одну треть «наиболее зрелых сил», тех, которые уже имели семидесятилетний опыт власти. Правда, лозунги, которые выдвигали эти «наиболее зрелые», тогда еще не вполне соответствовали ильинским идеалам, но недостаток оказался легко поправимым. Давно уже расставшиеся с ненавистным «интернационализмом», носители «ума, чести и совести» ныне готовы согласиться и на монархию, и на папство церкви, и на панславизм и испытывают особое пристрастие именно к И. Ильину.

Людям, которым идеи такого характера кажутся новыми и плодотворными, даже не приходит в голову вопрос: в чем гарантия того, что новый «национальный диктатор» подберет себе более совершенный «правящий аппарат», чем это делали прежние правители, что новая элита, новые «лучшие», будут действительно лучше прежних? Для Ивана Ильина различение «зла» и «добра» и насилия во имя того или другого было так же ясно и не требовало обоснования, как для автора, подписывавшего свои сочинения той же фамилией, — Владимира Ильина. Зинаида Гиппиус писала более шестидесяти лет назад, что И. Ильин и большевики — «противники обратно-подобные во всем: в духе, в центральных своих идеях. . . уже не обратно, а прямо подобные в выборе орудий и средств для „победы“». Ныне, когда большевики проявили готовность отказаться от прежних «центральных идей», подобие становится прямым и полным.

Старые, не подлежащие сомнению догмы сменяют новые, столь же непререкаемые: если раньше слово «революция» означало все новое и прекрасное (даже в косвенной форме — «революция в науке»), то теперь оно должно воплощать нечто страшное и отвратительное. «Больше всего я не люблю революции», — вещает по телевизору изящная дама, введенная в Верховный совет от союза дизайнеров. В либеральной питерской газете «Литератор» автор письма в редакцию потребовал переименования улицы Петра Алексева, ибо не может жить в городе, где улица носит имя убийцы (кстати, Петр Алексеев, рабочий-пропагандист, никогда никого не убивал); но его не смущает имя Суво-

<sup>1</sup> Новый мир. 1991. № 10. С. 221; Юность. 1990. № 8. С. 65—66.

рова, пролившего наверняка больше крови, чем любые террористы, — причем, не в оборонительных войнах, которых великому полководцу вести не доводилось, а как раз за пределами своего отечества.

Главное, что отличает сознание людей, решительно претендующих ныне на решение общественных проблем, — это утрата того «здорового смысла», который, по убеждению Толстого, помогает человеку идти верным путем. Исходя из принципа: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе делали», — Толстой отвергал всякое подчинение человеческой нравственности историческим и политическим целям, всякое стремление устраивать чужую жизнь по некоей навязанной программе. В XX веке преобладало именно такое отвергнутое Толстым стремление: нравственным объявлялось то, что соответствовало общественному «добру» — классовым или национальным интересам; «злом» — все, что ему противостояло. Правда, и в XX веке находилось немало людей, склонных к «здоровому смыслу». Вспомним Короленко, Синклера Льюиса, Оруэлла, Сахарова. Но преобладающими фигурами среди интеллигенции — и в частности, русской интеллигенции — стали люди, отвергавшие, как это делала Гиппиус в споре с Толстым, «весьма условное понятие здравого смысла» и предпочитавшие ему нечто иное — возвышенное и иррациональное. Они и предпочитали: одни — Муссолини и Гитлера, другие — Ленина и Сталина. Конечно, не интеллигенция, обожествлявшая «прогрессивные» идеалы и готовая принести им в жертву миллионы человеческих жизней, породила фашизм и коммунизм. Она лишь оформляла идеями «однородные влечения» отчаявшихся человеческих масс, но и такое оформление было немаловажно для совершения убийств.

Что же действительно изменилось в мире со времени Толстого? В чем его идеи не выдержали испытания временем и в чем — выдержали?

Изменилось многое. Во времена Толстого его страна была по преимуществу крестьянской и кормили ее сельские жители — ныне большинство страны составляют жители городов. Процесс этот можно в какой-то степени считать искусственным — следствием истребления значительной части крестьянства; но демографический сдвиг в пользу городов за счет сельского населения происходит во всем мире. Сдвиг этот предопределил, казалось бы, парадоксальное явление: индустриальные страны, с их ничтожным (но обладающим техникой) числом земледельческого населения, оказываются способными снабжать продовольствием не только себя, но и огромный мир бывших аграрных государств — не одну лишь Россию, но и миллиардный Китай, и ряд других стран.

Общественные сдвиги XX века, небывалый рост техники породили явление, аналогичное тому, которое уже наблюдалось в начале XIX в., но в гораздо более широких масштабах. «Однородные потребности» выброшенных из повседневной жизни лю-

дей облегчили объединение их в огромные еплоченные массы. В мирное время часть из них можно было обратить в охранников и тюремщиков, а другую, куда более обширную, — в заключенных; для войны же избыток населения открыл возможность создания таких армий, которых не знала до того история. Самые войны приобрели иной характер, чем прежде.

В «Войне и мире» Толстой писал, что «военное слово отрезать не имеет никакого смысла. Отрезать можно кусок хлеба, но не армию. Отрезать армию — перегородить ей дорогу — никак нельзя, ибо места кругом всегда много, где можно обойти, и есть ночь, во время которой ничего не видно...» (12, 168). Танковая война, невиданная прежде плотность военных сил, сделала старую ганнибалову идею всестороннего охвата противника, отрезания целых армий, окружения, «котлов», вполне реальной: сперва их смогли осуществить гитлеровские армии на Западе и в России, а затем советская — под Сталинградом.<sup>1</sup>

Нельзя, однако, утверждать, что эти изменения — как они ни важны — опровергли философию истории Толстого.

Ни в какой мере двадцатый век не доказал, что личность государственного деятеля может быть всемогущей. Если Наполеона Толстой не считал «великим человеком», способным делать историю, то еще меньше оснований претендовать на эту роль имели Гитлер и Сталин. Все, что мы о них знаем, свидетельствует о том, что это были «самые выдающиеся посредственности» в породившей их среде, существа с резко выраженным комплексом неполноценности, различавшиеся лишь тем, что один из них был холериком, а другой — скорее флегматиком. Они не делали историю; не делал ее и Ленин: при всем своем фанатизме он был оппортунистом, следовавшим сперва бунтовщическому напору масс, а потом — стремлению страны (и своих собратьев по партии) к рыночным отношениям. Огромные средства истребления, оказавшиеся в руках государственных деятелей XX в., не изменяли того обстоятельства, что они, бравшие на свою совесть массовые убийства, могли это делать потому, что их волю готово было выполнять множество людей.

В значительной степени требует переосмысления взгляд Толстого на государство. Еще раз напомним, что Толстой не был политиком, что к политическим проблемам он подходил с чисто нравственной точки зрения, не претендуя на какие-либо проекты устройства общественной жизни. И с этой нравственной точки зрения он был совершенно прав, когда видел в государстве не непререкаемого арбитра, стоящего над обществом, а совокупность людей, движимых в первую очередь личными интересами. Такое отношение к представителям государства выражено и в «Смерти Ивана Ильича», и в «Воскресении», и в «Живом тру-

---

<sup>1</sup> Ср.: Гроссман В. Жизнь и судьба. М., 1988. С. 614—615.

пе». Но логически вытекающая отсюда идея отказа от государства, безгосударственного общества, оказалась в XX веке чрезвычайно опасной: анархизм явился людям не в том мирном и благородном виде, в котором он представлялся Толстому или Кропоткину, а в образе Железнякова, Махно и различных террористических групп XX века. Что может противостоять этой губительной силе? Тоталитарное государство, возможно, способно было справиться с мафиозными структурами (как это было в фашистской Италии), но становилось само еще более страшной мафией. Однако демократическое государство, исполнительная власть, уравновешенная законодательной и судебной, оказалась все же в итоге XX века наименее опасной и наиболее надежной из известных нам гарантий нормального человеческого существования. А если это так, то и самые выступления Толстого против «сувереня устроительства» следует, по-видимому, принимать с определенными оговорками. Государственные деятели не делают историю, они лишь осуществляют то, что вытекает из совокупности стремлений общества, но кто-нибудь все же должен такие стремления оформить. Освобождение крестьян в 1861 г. происходило, вопреки мнению некоторых современных публицистов, не потому, что этого пожелал «царь-освободитель» Александр II, — как объяснил он сам в речи московским предводителям дворянства, лучше было «освободить крестьян сверху, нежели ждать, когда они сами освободятся снизу». Но непосредственное оформление реформы осуществлялось все же конкретными лицами — Я. И. Ростовцевым, Н. А. Милютиным и другими. Если бы американскую Декларацию прав написал не Т. Джефферсон, а Конституцию составил не Дж. Медисон, — это сделали бы другие люди, но кто-нибудь должен был (в той или иной форме) создать эти кодексы.

Одним из самых трудных для Толстого вопросов был вопрос о допустимости или недопустимости противления злу силой. Очень своеобразную, но несколько искусственную поправку к этому принципу предложил Д. Панин (прототип Сологдина из солженицынского «Первого круга»). «Некоторые люди в спорах, но очень редко на деле ссылаются на заповедь Спасителя о том, что следует подставить другую щеку обидчику. Но в этой заповеди речь идет об оскорблении, а не об убийстве. Когда же на христианина нападают с оружием, он по праву дает отпор нападающей стороне, — писал он. — Спаситель вовсе не требует, чтобы человек безропотно сносил удары, и разрешает ему благородную борьбу. . . Отнять жизнь у человека допустимо лишь в крайних обстоятельствах и только в открытом бою, во время войны, или поединка. . .»<sup>1</sup> Но, оставая в стороне вопрос о поединке (ибо и в дуэли побеждает не всегда правый, а иногда, увы, виноватый), заметим, что война — не столкновение одного человека

---

<sup>1</sup> Панин Д. Теория густот. Опыт философии конца XX в. Париж, 1982. С. 121—122.

с другим, напавшим на него с оружием в руках. Войну объявляет государство, и тут опять возникает вопрос, встававший перед Солженицыным еще в «Первом круге» и «Архипелаге» и так и не решенный им в «Красном колесе» (и «Декабристах без декабря»). На стороне какого государства должен воевать и убивать людей полковник Воротынцев: на стороне красных или белых, Сталина или Гитлера?

Для Толстого была очевидна разница между личной, индивидуальной ответственностью человека за свои поступки и тем, что считается обычно племенной, родовой, национальной ответственностью. В статье «В чем моя вера» Толстой обратил внимание на явное противоречие в христианском учении, опирающемся как на Новый, так и на Ветхий завет. Ветхий завет повелевает: «Люби ближнего твоего как самого себя» (Левит, XIX, 18) — и вместе с тем призывает к борьбе с врагами и содержит множество примеров такой борьбы. В Нагорной проповеди Христос, заявляя, что «ни одна йота или не одна черта» ветхозаветного закона не может быть нарушена, отступает от этого закона в одном случае. «Вы слышали, что сказано „люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего“. А я говорю вам: любите врагов ваших. . .» (Матф., V, 17—18, 43—44). Справившись со словарями и контекстом Библии, Толстой убедился, что «„ближний“ на евангельском языке значит: земляк, человек, принадлежащий к одной народности. . . Стоит только понимать слово враг в смысле врага народного, и ближнего — в смысле земляка, чтобы затруднения этого вовсе не было. . . И он говорит: вам сказано, что следует любить своих и ненавидеть врага народного; а я говорю вам: надо любить всех без различения той народности, к которой они принадлежат. И как только я понял эти слова так, так тотчас устранилось и другое главное затруднение — как понимать: любите врагов ваших. Нельзя любить личных врагов. Но людей вражеского народа можно любить точно так же, как и своих» (23, 364—365).

Перед нами — те же идеи, которые излагал Толстой в статьях «Христианство и патриотизм», «Патриотизм или мир?» и «Патриотизм и правительство». Основные возражения против идей, высказанных Толстым в этих работах, сводятся обычно к защите понятия «патриотизм». Даже наиболее снисходительные критики Толстого требовали и требуют разграничения понятия «патриотизм», «национализм» и «шовинизм». Термины вообще вещь условная, и, чтобы не задевать ничьих чувств, можно было бы именовать «патриотизмом» любовь к родному языку, родной культуре и вообще желание «своему народу и государству настоящих благ, таких, которые бы не нарушали прав других народов». Огромное большинство людей привыкло к своему языку и культуре и вполне естественно заинтересовано в ее судьбе больше, чем в другой. Привязанность к культуре, литературе, обычаям того или иного народа, интерес к его судьбе — нормальное человеческое свойство; чаще всего эта привязанность обращается на куль-

туру того народа, среди которого человек вырос. Если «патриотизм» понимать в этом твердо определенном и ограниченном смысле, то, естественно, он не противоречит человеческой нравственности. Как заметил Толстому его друг-англичанин, «хороший... патриотизм... — состоит в том, чтобы англичане, его соотечественники, не поступали дурно.

— Разве вы желаете, чтобы не поступали дурно только одни англичане? — спросил я.

— Я всем желаю этого! — ответил он, этим ясно показав, что свойства истинных благ... по существу своему таковы, что они распространяются на всех людей». Но обычное понимание «патриотизма», отмечал Толстой, это нечто совсем иное: желание равных благ всем народам «не только не есть патриотизм, но исключает его...» (90, 426).

Александр Исаевич Солженицын отрекался от обвинения в национализме, настаивая на том, что он не националист, а патриот.<sup>1</sup> И он же раздумывал, виноваты ли мы перед чехами за оккупацию 1968 г., если они не спасли Колчака в 1919 г., и ответственны ли мы перед латышами за захват Латвии, поскольку многие латыши участвовали в большевистской революции. Видимо, Толстой все же не без основания полагал, что «действительный патриотизм, который мы все знаем», *противопоставляет* свой народ другим, строится на представлении о нации, как о клане, члены которого связаны общими обязательствами и ответственностью.

Чтобы оправдать предпочтение своего народа, люди часто прибегают к метафорам: «патриотизм» приравнивается к любви к матери или к жене, которых люди любят, даже если видят их недостатки, — эта привязанность не мешает им любить и других. Но здесь опять вспоминается «Архипелаг Гулаг»: «И как правильно быть, если мать продала нас цыганам, нет, хуже — бросила собакам? — Разве она остается матерью? Если жена пошла по притонам — разве мы связаны с ней верностью? Родина, изменившая своим солдатам, разве это Родина?» (АГ, I, 226). Именно такой родиной стала для солженицынского Воротынцева Россия после 1917 года.

Но возьмем даже более благополучные примеры — когда родина не предаёт своих сынов. Правильно ли вообще подобное метафорическое уподобление — любви к отдельному человеку и любви к стране? Когда мы говорим, что любим человека N, это утверждение логически предполагает, что к другому человеку X мы не испытываем такого чувства, а третьего человека Y мы вправе вовсе не любить и даже испытывать к нему антипатию. Однако, если мы отождествляем отношение к человеческому множеству с отношением к отдельному человеку, мы предполагаем

---

<sup>1</sup> Пророк России в ссылке. Интервью А. Солженицына корреспонденту газеты «Тайм» Дэвиду Айкману // Литератор. 1990. № 90 (35), 17 авг.

ту же логическую операцию: мы любим народ N, равнодушны к народу X, а народ Y не любим или, по крайней мере, вправе не любить. Но отождествлять отношение к целому множеству с отношением к отдельному человеку — это и значит исходить из клановой психологии: отвергать целый народ из-за несимпатичных нам свойств его отдельных представителей.

В своей нравственной оценке «патриотизма» в его обычном понимании Толстой был прав. Гораздо более уязвимой была позиция Толстого, когда он обращался к проблеме патриотизма и национализма не с нравственной, а с исторической точки зрения. «Скажут: „патриотизм связал людей в государства, дело это поддерживает единство государств“. Но ведь люди уже соединились в государства, дело это совершилось...» — писал он (90, 48). Здесь Толстой рассуждал, как человек конца XIX в., живший в более или менее стабильной Европе и Российской империи. Опыт XX века показал, что «соединение в государства», осуществленное в XIX в., было эфемерным. Первая мировая война разрушила Австрийскую и Турецкую империи, перекроила границы Европы, Азии и Африки, создав новые государства, и уничтожила бы и Российскую империю, если бы ее новым хозяевам, провозгласившим лозунг «интернационализма», не удалось временно восстановить почти всю империю под иным названием. Ныне и «Союз нерушимый» распался на наших глазах.

Патриотизм, национализм, повинизм — реальные факты истории XX столетия вплоть до его последних лет. Говоря о злодействах нашего века, люди обычно вспоминают два его источника — национальный и социальный антагонизм. В последние годы, в связи с общим разочарованием в коммунизме, провозглашавшем идею классовой борьбы, русские авторы охотнее всего обличают именно классовый антагонизм. Но обе мировые войны XX века велись не под социальными, а под национальными лозунгами. Троцкий или Тухачевский могли мечтать в 1920 г. о мировой классовой войне, но уже «чудо на Висле» похоронило эти мечты. Вторая мировая война затевалась как война чисто национальная: оба ее инициатора, Гитлер и Сталин, начали именно с планов расширения своих державных территорий. Даже когда они вступили в борьбу между собой и началась та часть войны, которую в нашей стране привычно считают отдельной, Великой Отечественной войной (по образцу Отечественной войны 1812 г., столь же произвольно отделяемой от войн европейских монархий с Францией), ни о каких классовых лозунгах не было и речи: война велась под знаменами «великих предков». В России первых трех десятилетий века идея классовой борьбы действительно принесла больше крови, чем идея борьбы национальной, — именно поэтому русские публицисты вспоминают о ней куда чаще, чем о национальной идее, но и внутри страны идея интернационализма фактически была отвергнута уже в 30-х годах (когда репрессировали финнов, поляков, корейцев) и была совсем забыта ко времени второй мировой войны. Высылка народов и дискриминация

в 40-х гг. проводилась не по классовому, а по национальному признаку.

Означает ли это, что важнейшая роль национальной идеи, недооцененная Толстым и другими мыслителями XIX в., доказала в XX в. свою правоту и неодолимость? Именно об этом писал Солженицын в сборнике «Из под глыб». Для подтверждения этой неодолимости писатель даже прибег к термину из несвойственного ему «птичьего языка» — по его мнению, XX век обнаружил, что «человечество... отчетливо квантуется нациями».<sup>1</sup> Используя то же выражение, можно сказать, что в нашем веке люди не только «квантуются» по этому признаку, но в значительной степени и «доквантовались» — в двух мировых войнах, в Освенциме, в Сумгаите, в нынешних бесконечных кровопролитиях на окраинах бывшего Советского Союза и в Югославии. Но доказывает ли это правоту национальной идеи? Ведь и по социальному признаку люди «квантовались» в нашем веке немало — но ныне едва ли кто-либо видит в этом нравственное оправдание классового взаимоистребления. И национальный и классовый террор строятся на одной и той же посылке, несовместимой с нравственными принципами, как их понимал Толстой: на идее ответственности человека за поступки, совершенные не им лично, а представителями той группы людей, к которой он причислен, — на идее клановой мести.

Вправе ли человек, претендующий на решение религиозных, нравственных вопросов, руководствоваться гегелевским (да еще и сильно вульгаризованным по сравнению с источником) принципом: «Все действительное — разумно»? Не следует ли ему скорее принять то разграничение, к которому пришел Толстой, начиная с «Войны и мира» и кончая своими поздними сочинениями: разграничение между историческим процессом, совершающимся стихийно и не подчиняющимся воле отдельных людей, и нравственными принципами, к которым уже давно пришло человечество?

Это разграничение в большинстве случаев не ощущали не только многочисленные критики Толстого, но и люди, считавшие себя его последователями, например, Валентин Булгаков. В своей брошюре «Толстой, Ленин, Ганди» он провозглашал своеобразный синтез учений этих трех деятелей XX века. Он предлагал соединить толстовскую систему нравственности, ленинскую «борьбу за освобождение трудящихся масс» и учение Ганди, поскольку тому «удалось быть зачинателем на открывающихся человечеству новых путях безнасиленной, мирной духовной революции».<sup>2</sup> Этот своеобразный синтез, немного напоминающий мечты гоголевской героини об идеальном сочетании свойств ее женихов, свидетельствует о том, что последний секретарь Толстого, хоро-

---

<sup>1</sup> Солженицын А. И. На возврате дыхания и сознания // Из под глыб. YMCA-PRESS, 1974. С. 19.

<sup>2</sup> Булгаков В. Толстой, Ленин, Ганди. Прага, 1930. С. 48—49.

шо усвоивший его нравственное учение, плохо помнил исторические рассуждения в «Войне и мире». Даже если бы Толстой принял ленинскую идею «сознательного, энергического усилия» для освобождения трудящихся и присоединил бы к ней общи Толстому и Ганди идеи «безнасильтвенной мирной революции», осуществить такую безнасильтственную революцию он не смог бы. Толстой понимал это уже в 60-х годах XIX в., и еще лучше понял после 1905 г.

Индивидуальные (и групповые) усилия не способны определить направление «роевого движения» масс. Это «роевое движение», интегрирующее бесчисленные «однородные влечения» людей, так же неотвратимо, как явления природы, — как землетрясения, извержения вулканов, грозы, смена времен года.

Именно поэтому совершенно бессмысленны декларации людей, прозревших в наше время после многолетней веры в коммунистические идеалы, — лояльных советских граждан. Раньше они любили революцию, сегодня — возненавидели. Столь же осмысленны были бы их объяснения в любви или ненависти к грозам и другим природным явлениям. Для горожанина средней полосы проливной дождь — чаще всего досадное явление, для крестьянина, думающего об урожае, он может быть и желанным и несвоевременным. Но при любых стремлениях вызвать такие явления пока еще никому не удавалось. Мы знаем только, что явления природы переменчивы, и винить революцию в том, что после первоначального «Христового воскресения» часто наступает террор или реакция, так же абсурдно, как осуждать весну за то, что за ней следует летняя жара, осенние дожди и зимние морозы.

Исторические катаклизмы сходны с природными явлениями. Но человек не бессилён перед лицом природы. Можно строить антисейсмические сооружения, защищать население от разрушительного действия извержений вулкана, учитывать (и даже предвидеть) перемены погоды и принимать меры к тому, чтобы они принесли не вред, а, по возможности, пользу. Точно так же человек не может двигать историю, но он может с той или иной успешностью двигаться в истории.

Люди, декларирующие сегодня свою ненависть к революции, не просто совершают логическую ошибку. Речь идет о проблеме, имеющей немалое практическое значение. Если отвергать революции прошлого из-за того, что после них наступал якобинский или большевистский террор, то столь же последовательно отвергнуть и нашу «весну» в августе 1991 г., ибо за нею последовало не всеобщее благоденствие, а тяжкий экономический кризис и гражданские войны на окраинах бывшего Союза. И люди, для которых сопротивление путчу и диктатуре было лишь временной уступкой массовым настроениям, ныне отрекаются от былого энтузиазма.

Толстой никогда не выражал романтического восторга перед революцией. Но он выступал не против революции, а против лю-

дей, воображавших, что они ее «делают». Сам же он считал, что «революция состоит в замене худшего порядка лучшим. И замена эта не может совершиться без внутреннего потрясения, но потрясения временного» (36, 488).

Ганди переписывался с Толстым (ср. 80, № 149, 110; 81, № 318, 247; 82, № 178, 137—140) и считал себя его учеником,<sup>1</sup> но в отличие от Толстого, Ганди был не только проповедником, но и политиком. Он страшился «охлократии» — самоуправства черни — и принимал героические усилия (прибегая даже к голодовкам) для того, чтобы удержать свой народ от насилия. Но он отлично понимал, что в реальной жизни принцип непротivления злу насилем не осуществим или осуществим далеко не всегда. До конца первой мировой войны Ганди добивался лишь равноправия индийского населения в Южной Африке и самоуправления Индии в пределах Британской империи (сварадж). Именно поэтому он помогал англичанам в англо-бурской и первой мировой войне. На письмо В. Г. Черткова 1928 г., упрекавшего Ганди за это участие, он отвечал, что «убеждения — это одно, а реальная практика — другое», что он сделал все для сохранения мира, но что «мы настолько слабы», что «ненасилие» «трудно для понимания, еще труднее на практике»; «бесполезно рассуждать, поступил ли бы Толстой на моем месте иначе, чем я».<sup>2</sup> Сложной была его позиция и во время второй мировой войны. К этому времени надежды на самоуправление Индии под британской властью были в значительной степени поколеблены, но сочувствовать врагам Великобритании Ганди не мог. Когда вторая мировая война началась, Ганди в принципе был на стороне демократических стран — Англии и Франции,<sup>3</sup> но он уже выступал за полную независимость Индии, и в 1942 г. был интернирован британскими властями, проведя основную часть войны в заключении. В конце жизни Ганди посчастливилось увидеть осуществление главной своей мечты — освобождение Индии от английской власти (хотя и с отделением Пакистана). Но считать это освобождение делом его рук, осуществлением его «безнасильственной, мирной революции», едва ли возможно. Сама борьба Ганди за освобождение велась в иных условиях, чем борьба русских революционеров или советских диссидентов против тиранической власти, и возможность сравнительно удачного исхода этой борьбы определялась не только ее «ненасильственным» характером, но и тем, что противником освобождения Индии была страна, пришедшая — в ходе своей длительной и далеко не мирной истории — к строю, дававшему возможность легальной борьбы с государством. Не менее важным было и то, что Англия к этому времени

<sup>1</sup> Ср.: Литературное наследство. М., 1939. Т. 37—38. С. 339—352; *Green Martin. Tolstoy and Gandhi, Men of Peace.* N. Y., 1983. P. 85—97.

<sup>2</sup> *Gandhi M. K. Non-violence in Peace and War.* Ahmedabad, 1942. № 30. P. 101—103; № 32. P. 108—113; № 40. P. 140.

<sup>3</sup> *Gandhi M. K. Non-violence.* N 83. P. 294; N 89. P. 318.

была значительно ослаблена второй мировой войной, которую она вела с Гитлером в течение всех шести лет (и частично — в полном одиночестве). Это была уже не Британская империя, владычица морей, а сильно ослабленное государство.

И этот последний факт в значительной степени объясняет, почему «ненасильственные» методы борьбы с государством оказываются в ряде случаев более осуществимыми в XX веке, чем в прежние времена. При жизни Толстого государственная власть не только в России, но и в демократических странах (которыми в XIX в. были почти исключительно отдельные страны Западной Европы и Америки) была еще чрезвычайно сильной; очень велика была и социальная дифференциация в этих странах. Именно поэтому Толстой не видел существенной разницы между демократическими и деспотическими режимами; он выступал против государства вообще. Но в XX веке, параллельно с установлением и падением тоталитарных режимов, происходили важные изменения и в характере государственной власти демократических стран. Значительно либерализовалась пенитенциарная система; широко распространилась система условного освобождения из тюрем; психически больные, не представляющие серьезной опасности для окружающих, получили возможность выйти на свободу. Государственная власть стала не столько более гуманной, сколько менее могущественной. В некоторых странах гражданам рекомендуется «непротивление злу силой» в тех случаях, когда они имеют дело с уличными грабителями или хулиганами. Пилоты самолетов, захваченных пиратами, не имеют права оказывать вооруженного сопротивления (дабы не подвергать пассажиров риску катастрофы в воздухе), а должны следовать курсом, предписанным захватчиками. Так, довольно необычно (и не всегда удобно для граждан) стала осуществляться толстовская идея «ненасилия». И параллельно этому во многих странах была принята мера, за которую ратовал Толстой: отмена смертной казни. Перестав быть всемогущими, демократические государства поневоле стали более нравственными.

Войны XX века, принесшие гибель миллионам людей, имели одно немаловажное последствие — они в значительной степени развеяли романтическое представление о войне как о благородном призвании, и убедили миллионы людей, что война — величайшее несчастье, которое, вопреки Достоевскому, «зверит и ожесточает человека» больше, чем мирная, даже рутинная и обывательская жизнь. Уже в полемике с И. Ильиным в 1928 г. З. Гиппиус отмечала, что «мы... к войне относимся не совсем по-прежнему», что уже «последняя европейская война» «вызывала столько сомнений», и люди настойчиво искали «ее „виновника“, первого „поднявшего“ меч».<sup>1</sup> Те же настроения, но гораздо более сильные, возникли после второй мировой войны.

---

<sup>1</sup> Гиппиус З. Меч и крест // Современные записки. 1926. Кн. XXVII, С. 362.

В 1990—1991 гг. американский президент, вступивший по решению Организации Объединенных Наций в войну с Ираком, захватившим соседний Кувейт, имел полную возможность довести эту войну до логического конца: свергнуть Саддама Хусейна и освободить Ирак от диктатора. Но он не сделал этого — не потому, что проникся идеями «ненасилия», а потому, что должен был считаться с позицией мусульманских и других стран, которые сочли бы дальнейшую войну после освобождения Кувейта захватнической. Ослабление авторитарных режимов принудило и их стать менее воинственными. Горбачев, проиграв войну в Афганистане, не смог воспротивиться революциям в Восточной Европе и разрушению берлинской стены не потому, что он внезапно стал поборником справедливости (он дал достаточно доказательств противоположного), а потому, что не имел сил противостоять этому движению.

Наряду с центробежными тенденциями «квантующихся» наций, XX век обнаружил все более усиливающиеся центростремительные тенденции. Стремлению к международному единству во многом содействует появление таких средств связи, каких не знали предшествующие века. Уже Толстой, использовавший герценовский образ самодержавия, как «Чингис-Хана с телеграфом», писал, что «железные дороги, телеграфы, пресса» оказываются не только «могущественным орудием» в руках «Чингис-Хана», но и «соединяют людей в одном и том же сознании», противостоящем «Чингис-Хану», вследствие чего народ «не может быть уже принужден повиноваться правительству» (38, 165). Ныне людей связывают уже не только железные дороги, но и воздушные пути, сокращающие расстояния между странами; на место телеграфа пришло радио и телевидение. Бесспорна огромная роль западных радио-«голосов», разрушивших, вопреки всем препятствиям, монополию тоталитарных режимов на информацию; в Восточной Европе важнейшую роль сыграло также западное телевидение.

Конечно, итоги XX века дают немного оснований для оптимизма. Вышедшая недавно книга американского социолога Фрэнсиса Фукуямы, усмотревшего в событиях конца XX века свидетельство неизбежной победы общечеловеческой идеи свободы, «конца истории»,<sup>1</sup> вряд ли показалась бы убедительной Толстому — он никогда не принимал гегелевской теории прогресса, которой следует Фукуяма. Но едва ли бы он согласился с беспросветно мрачными взглядами тех, кто оплакивает сегодня «Россию, которую мы потеряли» вследствие революции. Толстой жил в этой России и совсем не склонен был ее идеализировать — напротив, он ясно видел в ней (как и во всем мире начала XX века) зловещие черты, предопределившие последующие несчастья. Но, возможно, он усмотрел бы в нынешнем состоянии мира некие «проблески во тьме» (выражаясь словами его дочери).

---

<sup>1</sup> *Fukuyama Francis. The End of History and the Last Man. N. Y., 1992.*

Первая половина XX века была временем двух мировых войн — во второй половине столетия столкновений такого глобального масштаба не было, хотя мир несколько раз оказывался близок к ним. Колониализм, по-видимому, изжил себя — опыт Японии и Германии показал, что экономическая экспансия выгоднее военной. Географический патриотизм (стремление к приобретению или сохранению наибольшей территории) — абстрактная, но далеко не безобидная форма патриотизма — еще побуждает его носителей требовать восстановления империи в границах 1914-го или хотя бы 1988 года. Однако идеи эти не находят широкого распространения. Люди, помнящие вторую мировую и афганскую войны, и та молодежь, которой, очевидно, предстоит участвовать в новых сражениях, не испытывают патриотического энтузиазма. Политика новых правителей страны пока еще определяется этими массовыми настроениями. Ослабление мощи государств, усиление межнациональных связей и дискредитация национальной идеи в наиболее развитых странах — все это позволяет надеяться, что исторический процесс в XXI веке наконец освободит людей от «клановой» (национальной или социальной) морали и даст им свободу действовать в соответствии со «здравым смыслом» — общечеловеческой нравственностью.

## SUMMARY

Lev Tolstoy's views of history have in general received little attention from serious scholars and have been rejected outright by many critics.

The central idea of Tolstoy's philosophy of history is the dependence of historical circumstances on the coincidence of countless numbers of causes: «Without each of these causes nothing could happen. So all of these causes — myriads of causes — coincided to bring (the war of 1812) about. . . In order that the will of Napoleon and Alexander (on whom the event seemed to depend) should be carried out, the concurrence of innumerable circumstances was needed, without any of which the event could not have taken place.» So every action of a statesman is predetermined and inevitable.

A deterministic view of history linked Tolstoy with Hegel. But the similarity between them ended here. The Hegelian worship of progress and its bearers, the great historical personalities, was totally alien to Tolstoy. «In historic events», wrote Tolstoy, «the so-called great men are labels giving names to events, and like labels, they have but the smallest connection with the event itself.» Tolstoy, with his interest in the fates of all people who participated in history, and in mass processes, resembled not Hegel but rather Henry Buckle, whom Tolstoy praised as a historian who was «nearer to the truth than all the others.» But Buckle considered that the course of history was determined by the progress of scientific ideas and was moved by the civilizers of mankind. Tolstoy observed that the connection between ideas and the actions of the masses needs explanation. «It is possible to understand that Napoleon had power and so events occurred. . . but how a book, *Le Contrat Sociale* (*The Social Contract* of J. J. Rousseau), had the effect of making Frenchmen begin to drown one another cannot be understood without an explanation of the causal nexus of this new force with the event», wrote Tolstoy. The conception of power, although very relative, «is the one handle by means of which the material of history. . . can be dealt with, and anyone who breaks that handle off, as Buckle did. . . merely deprives himself of one possible way of dealing with it.»

But why in some cases do the power and will of any person achieve success, and in other cases meet with failure? The ana-

lysis must be carried through to its conclusion, declared Tolstoy. «The only conception that can explain the movement of people is that of some force commensurate with the whole movement of the people.» In *War and Peace* Tolstoy answered this question several times. The course of historical events, he said, «depends on the coincidence of the wills of all who take part in the events.» The predetermination of this coincidence lies in what Tolstoy called the «differentials of history — the uniform inclinations of men (однородные влечения людей)», which he understood as the satisfaction of man's basic requirements for survival. Tolstoy believed that general laws of history could be formulated only by integrating countless numbers of infinitesimal units of observation, or millions upon millions of «uniform inclinations of men.»

The significance of these «uniform inclinations» is reflected not only in the author's digressions, but in the episodes of Pierre Bezukhov's captivity: «...only now for the first time Pierre came fully to appreciate the pleasure of food when he felt hungry, of drink when he felt thirsty, of sleep when he was tired... The satisfaction of one's needs — good food, cleanliness, freedom — now that he was deprived of these things, seemed to Pierre to be perfect happiness...» The «satisfaction of one's needs» — are the same «uniform inclinations», which the gentleman Pierre learned to value only in prison but which were basic necessities for the peasant Karataiev all his life. Tolstoy's descriptions of the French army before and after the battle of Borodino further illustrate how the «uniform inclinations of men» drive history. Napoleon's soldiers, «hungry, ragged and exhausted by the campaign, and in full view of an army which was blocking their road to Moscow», went into battle «in order to get food and rest as conquerors in Moscow.» This idea of «swarm» movement occurs again in Tolstoy many years after *Voyna i mir*, when he describes the movement of the crowd in the unfinished story *Khodynka*: «Emelyan... rushed forward, ... only because everyone else was rushing forward... Behind him, on both sides, there were people... That one aim, which he had set for himself from the very beginning — to get to the tents and receive the sack full of gifts — drew him on...»

Although Tolstoy's idea of the satisfaction of the «uniform inclinations» of all people (food, drink, sleep, etc.) as «differentials of history» was very near to Marx's idea that «first of all, people have to eat, to drink, to obtain shelter, and to dress themselves before they can engage in politics, science, art, religion, etc.», he could not agree with Marx's conviction that the role of the philosopher is to change the world. Unacceptable to him was the socialists' utopianism. He rejected categorically the idea which he defined as «the superstition of organization» («суеверие устроительства»). «How can you know that everything you do will have the consequences you expected, since you must know that the results, especially in the lives of the people, can be quite opposite from those intended?» «Why do you think», he asked the socia-

lists, «that the men who constitute the new government... will not, as at present, find a way to seize the lion's share, leaving to dark, mild people only the bare necessities of life?» Ilia Konstantinovsky, not long ago, noted the prophetic character of these words. Although some contradictory «utopian tendencies» could be found in his later works, Tolstoy fully understood the futility of any attempt by one man or group of people to force change upon the world.

If there was a contradiction between Tolstoy's determinism and his moral sermons it was not a contradiction in Tolstoy's logic but inherent in an objective and very important problem: «If history dealt only with external phenomena», wrote Tolstoy, «we should have finished the argument (with the admission of) a general law of necessity.» «But the law of history relates to man», and a man cannot admit that his will is not free thus negating any form of activity. «You say: I am not free. But I have raised my hand and let it fall. Everyone understands that this illogical reply is an irrefutable demonstration of freedom.»

The question of free will Tolstoy solved on the basis of his «atomistic» theory of «infinitesimally small units.» «Materialists say that man has zero freedom; I say that he has an infinitesimal unit of freedom», he wrote. The integration of «differentials of history» determines historical necessity, but everyone of these differentials is «an infinitesimal unit of freedom.» When a man has satisfied his need to eat, drink, sleep, etc., he has done it of his own free will; he feels himself free. He is free also when he settles his moral problems. As E. Wasiolek correctly observed, «man cannot „freely“ move history, but one can move freely *in* history by responding to the actual events one finds oneself in.»

Thus can be resolved the contradiction which many critics perceive in Tolstoy's historical views. Napoleon did not «make» history; he «acted as a child who, holding a couple of strings inside a carriage, thinks he is driving it.» But Napoleon freely «fulfilled the cruel, sad, gloomy and inhuman role predestined for him», and therefore «took the whole responsibility for what happened.»

Tolstoy based the moral choice, faced by every man, on the principle: «Don't do to others that which you don't want to be done to you.» The foundation of his religious views was the Sermon of the Mount. This moral, common to all mankind, was absolutely independent of any laws of historical movement, or of any tasks of social improvement. But the laws of history are also independent of any moral principles: history is moved not by individual men and their ideas, but by the integration of «infinitesimal units» — «uniform inclinations.»

Did the historical views of Tolstoy change in the second part of his life? His critics often contrasted the ideas of *War and Peace* — its determinism — with the well-known doctrines of late Tolstoy — non-violence, so-called Tolstovstvo — Tolstoyism. But this is not correct. Tolstoy's rejection of war and consequently of

the state began in *War and Peace*. Speaking with Pierre Bezukhov, Prince Andrew said that «the aim of war is murder; the methods of war are spying, treachery, and its encouragement... the habits of the military class are the absence of freedom, that is discipline, idleness, ignorance, cruelty, debauchery and drunkenness.» This was very far from an apology for the War of 1812. Tolstoy's friend, Strakhov, not without reason, was dissatisfied that Tolstoy, in *War and Peace*, failed to demonstrate the strength of the Russian people, «the ideal which saved Russia and inspired us up to now.»

After *War and Peace*, the contradictions between Tolstoy and his former friends — the Slavophiles — became evident, especially during the Balkan war. As is known, the last part of *Anna Karenina* was rejected by Katkov and published outside «Russkii Vestnik» precisely because of the negative position of Tolstoy towards the war then in preparation. Dostoevsky, too, condemned Tolstoy for this position. Dostoevsky's idea that «Constantinople, sooner or later, must be ours» was very characteristic of him; he based this idea on his philosophy of history, quite contrary to the philosophy of Tolstoy. In his article, «The Utopian understanding of history» (in the *Diary of a Writer*) he explained that the idea of the conquest of Constantinople is an ancient idea of the Russian people. Tolstoy didn't think that the ideas of Slav solidarity and conquest of Constantinople were really popular ideas. What is, in fact, the will of the people? In *Anna Karenina* Levin said that some great number of people may unite in the «Pugachev's Gang» — «if public opinion is an infallible judge, why are the revolution and the Paris Commune not as legitimate as the movement in favour of the Slavs.»

In his *Confession*, written at the end of the seventies, Tolstoy again remembered the Balkan war: «Then in this time a war in Russia occurred. And Russians in the name of Christian love began to kill their fellow men. It was impossible not to think about it. It was impossible not to see that murder is evil, contrary to all principles of every religion. But nevertheless, teachers of faith considered this murder to be an action of faith.» If Dostoevsky considered Russia the bearer of the «real image of Christ, which is dimmed in other peoples», Tolstoy rejected the idea of the superiority of any people. He said that this idea has no more justification than the idea by which the «Sumy Hussars thought the best regiment in the world is the Sumy Hussar regiment, and the Yellow Uhlans thought the best regiment in the world is the Yellow Uhlans regiment.» Further reflection on these questions led Tolstoy to the conviction that «to prefer one's own nation and state to all nations and other states... was and is to this day the source of the greatest disasters of mankind.»

Were the statements of Tolstoy against war and the state incompatible with his ideas of historical causality? Not at all. In the last decades of his life, Tolstoy declared that he didn't change the views he expressed in *War and Peace*. Tolstoy's protest against

a state system which is «unthinkable without murder», against war, and against every form of patriotism was based on his moral ideas. These ideas could not be subordinated to any political or national goals. In contrast to Dostoevsky, Tolstoy was alien to an «Utopian understanding of history.» Mass movements, such as the movement of peoples from West to East and from East to West, were determined, in Tolstoy's opinion, by the integration of a great number of individual inclinations.

What can man do in the face of historical necessity? Tolstoy was sure that no individual could change the course of history. But he recognized that freedom of choice for men existed. A man can refuse to participate in evil things; he can help his neighbour. In *War and Peace*, Pierre saved a child in the Moscow conflagration; the hero of the story «*Khodynka*», Emelyan, saved a boy and a young woman who were being trampled by the crowd.

Tolstoy was not a «passivist», as many authors have thought. Tolstoy helped people who refused military service, organized the emigration of Dukhobor sectarians to Canada, and together with Korolenko protested against Stolypin's gallows.

«Fais ce qui doit, advienne que pourra (do what you must; come what may)» — such were the last words in Tolstoy's diary. Tolstoy was not alone in the implementation of this principle. During the civil war his friend, Vladimir Korolenko, lived in Poltava, where civil authority changed hands many times — Bolsheviks, Germans, Ukrainian nationalists, once more Bolsheviks, then Whites (Denikin), and finally — Bolsheviks. Every time a new power appeared, Korolenko went to the new punitive organs — CHEKA or counter-intelligence — and tried to defend prisoners of both sides awaiting the firing squad. He saved many lives. We don't know whether he knew the last words of Tolstoy's diary, but in a Korolenko letter we find the same words: «do what you must, come what may.»

The position of Tolstoy's followers, the Tolstoyans — who after the Revolution organised agricultural communes in different parts of Russia — was the same. The Soviet authorities persecuted them striving to transform their independent communes into official collective farms. Of course the Tolstoyans could not change the entire social system in the country. But in spite of all persecutions up to the end of the 1930s they resisted great pressure, following the principle: «do what you must, come what may.»

After the First World War and the Revolution, many philosophers and writers turned to the questions raised by Tolstoy. The religious philosophers of the so-called «Silver Age» condemned Tolstoy as the chief culprit of the Revolution (Berdiaev, Merezhkovsky, I. Il'in). In the historical fiction of 20th century Tolstoy's historiosophy was more than once the subject of polemic (Aldanov, Merezhkovsky). The idea of the «red Tolstoy» («formal resemblance») and at the same time the overcoming of the «inner essence») was very important for official Soviet literature (Fadeiev, A. N. Tol-

stoy). Of even greater significance for Russian literature was Tolstoy's influence on such authors as Mikhail Bulgakov, Jurii Tynianov and Vasilii Grossman: their books reflect Tolstoy's idea of historical necessity.

The position of Alexander Solzhenitsyn concerning Tolstoy's legacy is rather contradictory. We find many of Tolstoy's ideas in the novels *The First Circle* and *The Cancer Ward* and in *The Gulag Archipelago*. When Solzhenitsyn wrote in *The Gulag Archipelago* that in all Russian history «the victories were useful for the governments, the defeats were useful for the people», he was very close to Tolstoy's point of view. However the Solzhenitsyn's last book, *The Red Wheel*, can be characterized as «wrestling with Lev Tolstoy.» In his polemic against his great predecessor Solzhenitsyn attributed Tolstoy's ideas to the ungifted generals of the First World War. But the conclusion of the first novel of the epopee *August 1914* showed that the defeat was caused not by individual bad generals, but the entire Russian military system. In the second edition of this book Solzhenitsyn contrasted the bad generals of 1914 with the «great man» Stolypin, although Stolypin was killed three years before the war and could neither prevent nor win it. The chief historiosophic idea of *The Red Wheel* is the fatal role of the February Revolution of 1917. But how did the February Revolution occur? Contrary to his entire conception Solzhenitsyn shows that this revolution was absolutely spontaneous — it was not organised by anybody. The «wrestling with Tolstoy» was not victorious — in fact, his picture of the February Revolution confirmed the historical ideas of Lev Tolstoy.

What is the meaning of Tolstoy's historiosophy now, on the eve of 21th century? How far did the world change after Tolstoy? To what degree have his ideas stood the test of time and to what degree have they not? Of course the changes are great. The population of the planet has grown tremendously, which has made possible the creation of gigantic armies and concentration camps. The scale of mass extermination of people has grown immensely.

But these changes, however important they have been, have not disproved Tolstoy's views. The great tyrants of the 20th century — Hitler, Stalin and others — were not more remarkable people than Napoleon; they didn't «make history»; it was moved by other more mighty causes. But the historical causality of modern totalitarianism does not diminish the responsibility of its political leaders. The great villains of our time gave orders for crimes and must take full responsibility for them.

Tolstoy underestimated the power of nationalism in modern times. He wrote that patriotism tied men together in states, «but now that peoples are tied together, this process is completed.» The experience of 20th century has showed that the empires of earlier centuries were not stable; they were destroyed, and this century has become the epoch of national struggles. But does this mean that the nationalism and patriotism condemned by Tolstoy have pro-

ved their moral worth? On the contrary — they have been the source of the greatest evils of our time.

The history of our age has proved that «making history», based on some social or national dogma, is disastrous. We cannot find in Tolstoy's works any prescriptions for a political system — these problems were quite alien to him. But Tolstoy's «common sense» teaches us that no ideologist or ruler can subordinate history to his will, and that no moral principles ought to be sacrificed for the sake of such attempts.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора . . . . .	3
Введение . . . . .	4
<b>I. Исторический «атомизм» в «Войне и мире» . . . . .</b>	<b>7</b>
Историческая концепция в первой завершённой и в окончательной редакции романа . . . . .	7
Восприятие критикой исторической концепции романа . . . . .	10
Историческая необходимость: Толстой, Гегель и Бокль . . . . .	14
«Дифференциал истории» . . . . .	19
Толстой и исторический материализм . . . . .	23
Вопрос о необходимости и свободе . . . . .	26
«Дух армии и народа» — Толстой и К. Поппер . . . . .	29
Проблема патриотизма — Толстой и Достоевский . . . . .	32
Отношение к государству и власти . . . . .	34
<b>II. Толстой в XX веке . . . . .</b>	<b>37</b>
Толстой и революция 1905 года . . . . .	39
Толстой и Столыпин . . . . .	45
Толстой и «Вехи» . . . . .	55
Толстой и историческое предвидение . . . . .	60
<b>III. Революция и идеи Толстого . . . . .</b>	<b>67</b>
Представители религиозно-философского направления против Льва Толстого . . . . .	69
Короленко и Горький . . . . .	79
Толстовцы и большевики . . . . .	91
<b>IV. Русская историческая проза XX века и идеи Толстого . . . . .</b>	<b>102</b>
Спор с Толстым: Алданов и Мережковский . . . . .	105
В поисках «красного Толстого» . . . . .	111
Человек и история: Булгаков, Тынянов и Гроссман . . . . .	118
Единоборство с Толстым: Солженицын . . . . .	129
<b>Заключение. Толстой на пороге XXI века . . . . .</b>	<b>146</b>
<b>Summary . . . . .</b>	<b>161</b>

**В 1993 году**

**издательство «Дмитрий Буланин»**

**выпускает следующие книги**

**Института русской литературы (Пушкинский Дом)**

**Российской академии наук:**

**Словарь книжников и книжности Древней Руси.**

**Вып. 3 (XVII в.).**

**Часть 1. А—З.**

**Словарь книжников и книжности Древней Руси.**

**Вып. 3 (XVII в.).**

**Часть 2. И—О.**

**Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XLVI.**

**Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XLVII.**

**Труды Отдела древнерусской литературы. Т. XLVIII.**

**Предварительные заказы принимаются по адресу:**

**«Академкнига», магазин «Книга — почтой»**

**197345, С.-Петербург, Петрозаводская ул., 7;**

**телефон для справок: 235-40-64**

Доктор филологических наук Яков Соломонович Лурье — известный историк и литературовед, видный специалист в области русских литературных древностей, автор книг «Идеологическая борьба в русской публицистике конца XV—начала XVI в.» (М.; Л., 1960), «Общерусские летописи XIV—XV вв.» (Л., 1976), «В краю непуганых идиотов. Книга об Ильфе и Петрове» под псевдонимом А. А. Курдюмов (Париж, 1983), книги о С. Я. Лурье «История одной жизни» от имени Б. Я. Копржива-Лурье (Париж, 1987), «Русские современники Возрождения. Книгописец Ефросин. Дьяк Федор Курицын» (Л., 1988) и др.